



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1980







Шукруло

СУНДУК
С
ДРАГОЦЕННЫМИ
КАМНЯМИ

*Перевод с узбекского
Вл. Солоухина*

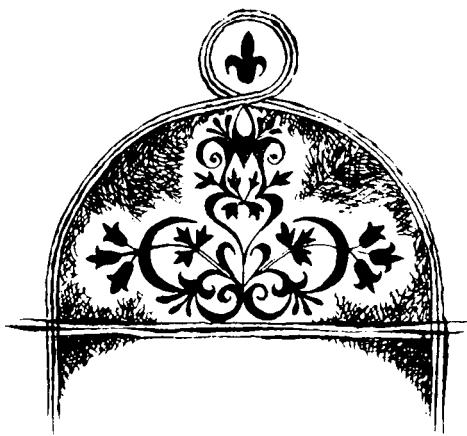


84Уз7
Ш95

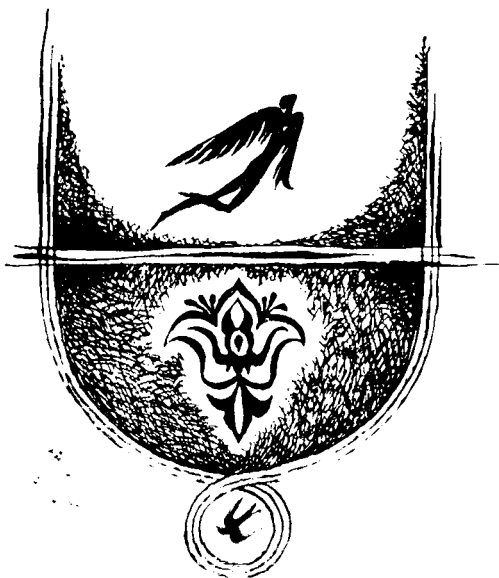
Художник Максим Рейх

Ш $\frac{70303-243}{078(02)-80}$ 163—80. 4702590200

© Издательство имени Гафура Гуляма, 1976 г. (на узбекском языке).
© Издательство «Молодая гвардия», 1980 г. (перевод на русский язык).



РАЗДУМЬЯ ПЕРЕД ТЕМ.
КАК СТУПИТЬ НА БРЕВНО.
ПЕРЕКИНУТОЕ
ЧЕРЕЗ РЕКУ





Губок и сфера красота и ток,
 Рубрика в Hero с фототрубой жаждаю,
 и фототруба и фототруба и фототруба,
 и фототруба и фототруба и фототруба.



сть у нас, узбеков, по-
словица, будто человек
киселем зуб сломал. Так

люди говорят, хотя и понимают, наверное, что киселем
зуба не сломаешь, а просто пришла пора выпасть зубу,
вот он и выпал.

Поутру, выйдя в сад, мы ругаем ветер за то, что он
сбил с веток столько яблок. Но ветер ли виноват? Ябло-
ки перезрели или червивые, вот они и попадали ночью.

Еще говорят и так: пока не наступишь, колючка в но-
гу не вонзится. Так и эта книга — не возникла у ме-
ня ни с того ни с сего. Видно, пришла для нее пора как
для отболевшего зуба, как для отвисевшего свой срок на
яблоне яблока, как для колючки, если уж наступили
на нее.

Был я в отлучке месяц-другой, возвращаюсь, а дома
ждет меня куча писем. Сажу перебираю, читаю их, а
самому думается:

В юности ночи проводишь без сна,
Перед глазами она да она,
Губы, как роза, и девчья стать.
В старости будем спокойнее спать.

Годы промчались, а нету мне сна,
Перед глазами она да она,
Молодость давняя — пройденный путь —
Юность, которой уже не вернуть.

Вот прочитают эти мои стихи друзья да приятели и скажут: «Еще не согнули годы спину Шукрулло, а уже записался в старики, по ушедшей молодости затосковал». Нет, друзья, стариком я себя не чувствую, даже если бы время и согнуло меня, если бы голова поседела.

Признаки старости не в седине,
Выпавшем зубе, согбенной спине,
Рано бездельник стареет душой,
Труженик молод, хотя и седой.

Нет, нет, тем самым я не хочу отказать молодости в ее прелести и очаровании. Молодость и есть молодость, не с чем ее сравнить, и если она уходит, то никакими рассуждениями ее не вернуть. Я хотел только сказать, что и молодость и старость бывают разными. А навели меня на все эти мысли письма. Их написали мне люди, которые читали кое-что написанное мной, но никогда не видели меня в глаза. И вот, оказывается, по моим стихам они никак не могут определить, молод я или стар. Некоторые обращаются ко мне как к пылкому юноше, а некоторые как к убеленному сединами и умудренному старцу. Так что же я на самом деле — стар или молод?

О чем только не спрашивают в таких письмах! Когда я написал первое стихотворение? До женитьбы я начал писать стихи или после женитьбы? Кем были мои родители? Не начал ли я писать стихи, как некоторые великие поэты, под влиянием бабушкиных сказок? А если это так, если бабушкины сказки помогают людям сделаться поэтами, то почему сейчас все не становятся ими? А некоторые (молодые притом!) прямо спрашивают, а нельзя ли де с вами встретиться, чтобы лично поговорить и задать некоторые вопросы?

Не дай бог, если попадет такое письмо в руки ревнивой жене! Но — да не изменят выдержка и благородие всем женам поэтов!

Но, в конце концов, все письма делятся только на две части: приятные и неприятные, ободряющие и критикующие, доброжелательные и злые. Слова одного приятно ласкают сердце, окрыляют, воодушевляют. Другой старается побольше да с вывертом ущипнуть. Каждое слово такого письма словно последние жилы из тебя тянет. Ста-

новится и больно и горько... Правда, про перец говорят что он хоть и жгуч и остер, да зато возбуждает аппетит, и я не таю обиды на тех, кто мне пишет злые и горькие письма. Они возбуждают во мне мысли и чувства, которые без них, возможно, и не возникли бы, они заставляют взыскательнее и серьезнее взглянуть на сделанное тобой, да и на самого себя. Бояться надо не огорчений, а равнодушия.

Отец часто учил меня:

— Сынок, если ты почувствовал в себе потребность раскрыть душу перед другим человеком, а он в ответ не говорит тебе ни слова доброго, ни слова осуждающего, беги от такого человека! Он никогда не станет тебе другом. Он безучастен к тебе, он молчит, потому что ему нет дела до наших с тобой радостей и обид, ему все равно, жив ты или умрешь, это не его забота. Есть люди, которые не любят взваливать на свои плечи груз чужих тревог и забот.

Вот почему для меня каждое письмо — плохое или хорошее — все равно что добрый друг, постучавшийся в двери дома, чтобы войти на минутку и справиться о моем житье-бытье, о моем самочувствии.

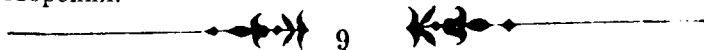
Великий Алишер Навои говорил, что беседующий с тобой о тебе человек подобен зеркалу. Начать спорить с ним, противоречить ему — все равно, что дунуть на зеркало. Оно помутнеет, и ты не увидишь в нем собственного отражения. Слушай, что о тебе говорят, это поможет познать самого себя. Конечно, и зеркала бывают разные, это правда. В одном прямое искривится, а в другом кривое окажется прямым и красивым. Конечно, если кто-нибудь назовет тебя богатырем, это не значит, что ты тотчас, выйдя на борцовский ковер, всех победишь. Назвать-то богатырем тебя назвали, да как бы не наломали тебе бока, если дойдет до настоящего дела.

Однажды я пришел к Гафуру Гуляму, а он как будто только и ждал меня, сразу протягивает мне письмо.

— Прочти-ка, что там, на оборотной стороне конверта, написано.

Переворачиваю конверт и читаю: «Гафур-ака, я не смог разыскать адреса Шукрулло, не передадите ли вы ему это письмо?»

Само письмо начиналось строками моего старого стихотворения.



Если хочешь понять, что такое любовь, не ищи красоты.
Не изведав блаженства, лишь горе изведаешь ты,
И любовь ты познаешь, и мир и покой обретешь
Только с верной подругой. Да где ты такую найдешь?

Гафур-ака не стал даже слушать продолжения письма.
— Ох-хо-хо! — сокрушенно вздохнул он. — Натерпелся, видать, от жены, бедняга.

Мне стало неловко перед Гафуром Гулямом за эти давние и посредственные строки, и я решил по-своему объяснить внимание неизвестного мне читателя к моему стихотворению.

— Человек, пришедший на базар, ищет и то, что ему нужно, и что по карману.

Одного, может, и золотое изделие не слишком обрадует, если он найдет в нем изъян, а другой рад старым галошам.

Кто хочет пить, тому подай глоток настоящей воды, а не утешай рассказами об озерах и реках.

Человеку, что-либо потерявшему в темноте, единственная ничтожная спичка сию минуту дороже, чем солнце, которое появится только утром.

Поэтому неудивительно, что и мой стишок понадобился человеку, оказался поддержкой и опорой в трудный час. Должно быть, этот человек сильно страдает от женщины, которая ждет от любви одних наслаждений. Человек, отправивший письмо, так и подписался: Джудой, то есть разлученный, страдающий от разлуки.

С письма разговор незаметно и как-то само собой перешел на литературу. Немало поучительного я услышал в тот раз от старшего собрата по ремеслу, от мастера. Зашла речь, например, о слабых, посредственных произведениях.

— Если арык не очищать время от времени от ила и от разных наносов, — сказал Гафур Гулям, — то воды по нему будет поступать все меньше и меньше, а потом она и совсем перестанет течь. Мы народ-земледелец, народ-дехканин. Если не станем вовремя копать дренажные канавы, промывать засоленные земли, то соль перекинется и на соседствующие чистые земли, погубит их. По-моему, чем читать бездарные книги, лучше уж ничего не читать совсем. И Гафур-ака напомнил мне известную притчу:

— Сын одного падишаха стал вести себя легкомысленно и разгульно. Падишах решил свести его с сорока настоящими джигитами, строгими, суровыми, мужественными. Пусть, дескать, сынок посмотрит, наберется ума-разума, переймет у них все хорошее. Прошло совсем немного времени, и что же? Сынок падишаха не сделался таким же хорошим, как сорок джигитов, но сорок джигитов сделалось такими же легкомысленными бездельниками, как сынок... Ты понял, наверное, о чем идет речь? — грустно улыбнулся Гафур-ака. — Таково же влияние и посредственных книг, халтуры. Если проявить попустительство по отношению к бездарным книгам, то не будет ли это поощрением для всех халтурщиков? Каждый решит, что и я, мол, могу написать не хуже. Скользить вниз по наклонной плоскости легче, чем карабкаться на вершину.

Затем Гафур Гулям взял у меня письмо бедняги, дочитал его до конца и посоветовал обязательно ответить. Я задумался. Что и как отвечать? Спасибо, дескать, на добром слове, продолжайте и дальше хвалить меня? Или написать, что я недостоин столь восторженных оценок? Но ведь человек высказался от всей души, столько наговорил сердечных и теплых слов. А ты возьмешь да и рубанешь ему сплеча: нет, дескать, все далеко не так, как вы считаете, недостоин я такой оценки...

Одним словом, так или этак, а отвечать надо. Хотя бы затем, чтобы не остаться в долгу перед читателем.

Наш народ клеймит презрением тех, кто может, да не хочет платить долги. Есть даже такой обычай. Прежде чем поднимут гроб с покойным и тронется погребальная процессия, ко всем собравшимся обращаются с вопросом: не остался ли умерший перед кем-нибудь в долгу? И если окажется, что покойник был кому-нибудь должен, дети его или кто-нибудь из близких родных при народе берут долг на себя. Без этого деяния, за которым следует символическое — «Миром дозволено», — не разрешается поднять погребальные носилки. Значит, если ты задолжал деньги или любую другую вещь, то всегда есть возможность даже после смерти от этого долга избавиться. Можешь быть уверен, что твой долг за тебя обязательно вернет другой. Но вот кто возьмет на себя ответственность, кроме меня самого, отвечать на письма, адресованные лично мне?

Разложив перед собою письма, как карты в пасьянсе, решил я отвечать на них по порядку, начиная с крайнего. Стал перечитывать их и задумался, растерялся: на какое всерьез отвечать, а на какое — отделаться шуткой? Один, например, пишет: «Мы часто ссоримся с женой по сущим пустякам! Подскажите, как мне быть? У вас, наверное, тоже бывают в семье ссоры, случается, что вы не можете понять друг друга? Иначе откуда же у вас это стихотворение?»

Приятель недавно мне плакался мой
О том, что опять доругался с женой,
О том, что скандал ежедневный в дому,
А я позавидовал, братцы, ему.

Семейная ссора — подумаешь, дело!
Все выскажешь, что на душе накипело.
Но если на сердце то радость, то боль,
Обид незаслуженных крепкая соль,

Так хочется всем поделиться тогда,
А не с кем. Вот это большая беда.

Возможно, решите вы, удивлены,
Что нет у меня языка иль жены.

О нет, и жена-раскрасавица есть,
И слов у поэта не перечесть.

Но только в надежде открою я рот,
Подруга включается как пулемет.

Давно я женился, уже поседел,
Однако ни слова сказать не успел.

И вот почему, дорогие друзья,
Скандалам и ссорам завидую я.

Семейная ссора — подумаешь, дело!
По крайности, выскажешь, что накипело.

И дальше допрашивает дотошный читатель: если любовь — это верность в семейной жизни, то состоит ли она в том, чтобы стойко переносить все несправедливости и все капризы сварливой жены? А как у вас обстоит дело с семьей и любовью?

Чтобы ответить только на один этот вопрос, мне при-

шлось бы написать пространную автобиографию. Да что там автобиографию! Я должен был бы рассказать моим адресатам то, что никто и никогда еще рассказать не сумел. И о первых бессонных ночах, когда меня терзали сладкие муки юношеской романтической влюбленности, и о слезах счастья, и о ледяном холоде разочарований, и это все еще до семьи. А о семейной жизни своей как рассказать? С ее такими не похожими ни на чьи другие радостями и огорчениями? Впрочем, нет худа без добра. Пелегкие, но полезные задачи задают мне читатели. Ибо отведу я сегодня на одно такое письмо, а завтра приходит другое с теми же самыми или похожими вопросами.

Приходится повторяться. И тут постепенно стало зреть во мне дерзновенное решение. Дерзновенное потому, что до сих пор я не писал никакой прозы — ни рассказов, ни повестей, разве что вот именно письма. До сих пор были все стихи да стихи. Может быть, и много о себе я рассказал в этих стихах, но всего не расскажешь. Заявление, например, пишешь ведь, минуя стихотворную форму. А мысль соблазнительная: одним разом ответить на все повторяющиеся вопросы в письмах — и в тех, что я уже получил, и в будущих, которые еще не написаны. Что из того, что проза для меня — путь нехоженный, неизведанный. Не могу и советов послушаться, ведь если путь никем еще не пройденный, какие же могут быть советы, кто же их подаст? Одни говорят: хоть и долг будет твой путь и труден, иди своим путем, другие утверждают: там, где один человек пройдет, и другой, значит, способен пройти. Если тебе этот путь под силу, значит, и другие его пределают, а может быть, и пределали, да ты не знаешь.

Впрочем, на одном и том же дугаре* всяк играет по своему...

Одним словом, решил я если и не созсем на авось, то наудачу пуститься в неведомую мне пока дорогу. Но прежде чем сделать свой первый шаг, задумался я, и охватила меня какая-то тревога, смутное, но неотвязчивое беспокойство. Почувствовал я себя как путник перед скользким и шатким бревном-мостком, перекинутым через неоглядно широкую реку. В душе шевельнулся, раз-

* Дугар — двухструнный щипковый музыкальный инструмент.

растаясь, страх. Едва я представил себя шагающим по этому ненадежному мостку, меня охватило смятение. Ведь на Древнем Востоке преодолеть подобный путь удалось только великому шейху Саади. Он на тысячелетия оставил нам пример мужества и дерзновенной отваги, без которых бессмысленно устремляться в неведомое. Искусство перехода через бурную и необъятную реку жизни восприняли у великого первопроходца люди такой же дерзновенно смелой и окрыленной души: Абдулла Кадыри, Айбек. А разве мало трудностей испытали в подобном же положении мои друзья Саид Ахмад, Мирмухсин, Адыл Якубов! Стоит мне только обратиться к ним, и они с готовностью протянут руку помощи и дружеского участия. Но ведь идти-то мне надо все равно самому! А удастся ли на дрожащих-то и подгибающихся от страха и неуверенности — как у ребенка, делающего первые шаги, — ногах? И что ждет меня на том берегу — цветущий луг или безжизненная пустыня? В народе говорят: «Зачем ты стремишься то туда, то сюда? Везде есть весы и гири». То есть хорошо там, где нас нет.

С одной стороны, я боялся, что поскользнусь, упаду на новом пути и буду посрамлен. С другой стороны, вспомнилось мне, что из-за первого написанного мною стихотворения я лишился лучшего своего друга детства. Не повторится ли подобное и теперь? — шевельнулась в душе боязливая мысль.

Я тогда учился в средней школе. Однажды особенно любимый и почитаемый мною преподаватель литературы Сагдулла Исмаев дал всему классу задание: изложить письменно свои впечатления о праздновании Октябрьской революции. Форму сочинения — рассказ или стихотворение — каждый должен был выбрать сам, по своим склонностям и способностям. Я написал стихотворение. Неожиданно оно всем понравилось. Учитель наш даже предложил мне прочитать его на большом собрании, которое намечалось на следующий день. А похвалы этой и подобного предложения ждал... один мой одноклассник! Не знаю почему, или стихотворение у моего друга получилось слабее, или были другие тому причины, но преподаватель его стихотворение не похвалил. Между нами будто пробежала черная кошка. Лучший мой друг, с которым мы и в школу вместе ходили, и из школы, постепенно все заметнее стал меня сторониться. В конце кон-

цов отношения между нами и вовсе испортились. А после окончания школы уже и сама жизнь развела нас по разным путям-дорогам.

Прошло много лет, и случай снова свел нас с моим школьным другом. Мы горячо обнялись, расцеловались. К тому времени он стал уже довольно известным художником, а меня приняли в Союз писателей. Друг пригласил меня на пиалу чаю. За столом разговорились, вспомнили прошлое, свои школьные годы.

— Каждый, оказывается, должен заниматься тем, на что способен, — сказал друг, то ли оправдываясь за былую нашу размолвку, то ли как человек, которого жизнь заставила многое понять и сделать полезные выводы.

И поведал он мне потом нечто очень интересное.

— Если применить поговорку «луну подолом не прикроешь» к произведениям писателей и художников вообще, очень уж она уместно звучит. Как луна видна всем, так и книга доступна каждому. Если два человека, сидя дома, возносят кого-нибудь до небес или, напротив, клеветают на кого-либо, всячески поносят его, то никто ни этих похвал, ни злословия, кроме них двоих, не слышит. А вот если о писателе, о его книге выскажет кто-нибудь свое мнение, того и гляди попадет впросак. Книга, например, большинству нравится, и ты об этом знаешь, но тем не менее возьмешь да и раскритикуешь ее. В лучшем случае тебя обвинят в непонимании литературы, а то и вовсе в злопыхательстве. Такая же участь ждет и того, кто вздумает хвалить заведомо слабое, ничтожное произведение. И пойдет о человеке дурная слава, все будут знать, что он обнаружил полное непонимание литературы или, хуже того, просто-напросто подхалимничает.

Я внимательно слушал моего друга. У меня не было и тени сомнения в том, что говорит он все это искренне, от всего сердца. Разговор снова сблизил нас, и мы стали такими же друзьями, как в далекие школьные годы. С души будто камень свалился, в ней стало легко и светло.

Однако в подобное положение мне суждено было попасть снова, когда я от стихов перешел к драматургии. Теперь от меня отвернулся один знакомый драматург.

Литература такая штука, что не все виденное и пережитое тобою удастся выразить в стихотворении или поэме. Как говорят, для каждой работы нужно свое учреждение, каждое ремесло требует своих инструментов. Так

и про каждое блюдо надо знать, в чем и как приготовить, чтобы получилось вкусно. Не станем же мы, например, шлов готовить в тандыре*, а хлеб печь в котле. Точно так же любое событие или жизненное явление необязательно и даже неразумно во что бы то ни стало втискивать в форму стихотворения или поэмы.

Столкнулся в жизни и я с таким событием, которое требовало воплощения только в драме. Я поделился своим замыслом с одним моим приятелем-драматургом. Хотелось услышать, что он мне посоветует. Он сразу стал пугать меня сложностями и трудностями этого жанра, тем, как нелегко бывает найти общий язык с театральными деятелями, а в заключение посоветовал: дорогой Шукрулло, занимайся спокойно своими стишками, зачем тебе лезть в незнакомое дело!

Однако задуманное не давало мне покоя. Стоило взять в руки перо, как тотчас оживали уже окончательно воплощенные в душе, созревшие в мыслях образы, и начинали нашептывать мне свои монологи. Ничего не оставалось делать, как садиться за стол и писать. Недаром говорят в народе: если суждено, гости непременно заявятся. И вот драма закончена. Робко, перебарывая в себе страх, несу ее в театр. Началась читка. Всем понравилось. Не успел я оглянуться, уже и репетиции начались. И надо же так случиться, что театр не поставил пьесу моего друга, которую тот сдал раньше меня. Друг решил, что виноват я со своей драмой, и отношения между нами разстроились. Так, обратившись к драматургии, я лишился еще одного своего приятеля.

Как же все это понимать? Закономерность тут или простое недоразумение? Говорят, есть люди, которые, обнаружив, что им недостает чего-либо, чем владеют другие, загораются желанием обрести недостающее. Старая, человек начинает тосковать по молодости, завидовать молодежи, а молодежь, напротив, мечтает побыстрее повзрослеть, возмужать. Низкорослые с завистью глядят на высоких и стройных. Что возразишь против этой зависти? Я ее понимаю и разделяю. Однако едва ли высокий и стройный мечтает стать коротышкой. Все о высотах мечтают, и в прямом и в переносном смысле. Однако чтобы стать повыше, необязательно ведь укорачивать ноги, а

* Т а н д ы р — печь для выпечки лепешек.

то и голову высоким. Не станем же мы уподобляться Наполеону, который на заявление одного генерала — «Я выше вас на целую голову!» — ответил: «Не выше, а длиннее, но и эту разницу мне легко устранить...»

Хорошо, когда с доброй завистью смотрят на человека, преодолевающего невероятные трудности, взбирающегося из бездонной пропасти на горные вершины, когда стремятся следовать его примеру, однако чем, как не корыстным, злым умыслом объясним мы желание воспрепятствовать и другим обрести то, чем ты владеешь сам, обязательно равнять всех по собственной своей персоне.

Разумеется, добрый человек, покорив какую-либо вершину, не должен забывать и о тех людях, что пока находятся у ее подножия. Он обязан и им указать путь к высоте, протянуть руку помощи и участия. Это и будет истинной человечностью. Однако если человек протянул тебе руку с высоты, а у тебя тем не менее нет сил ее одолеть и ты сам почувствовал свою немощь, то лучше уж отпустить руку, нежели и доброжелателя, помощника твоего увлечь вместе с собою в бездну. Ведь это будет не чем иным как подлостью, вероломством!

Из-за стихов я в юности лишился одного друга. Перешел от стихов к драматургии — столкнулся с такой же непредвиденной неприятностью. А вот теперь сел за новую книгу, уже прозаическую. Только вывел первые строки, в душу закралась тревога: а не разлучит ли меня эта книга с еще одним каким-нибудь близким и дорогим человеком, хорошим, как считаю, другом?! На душе сделалось тревожно, беспокойно, сердце заныло в недобром предчувствии. Ладно, если бы предчувствие осталось только предчувствием!.. Я ведь забеспокоился теперь не просто о друзьях-приятелях, а о самых дорогих моих и самых верных друзьях, о тех, что ни на мгновение не покидали меня, едва я взял в руки перо, о тех, что делили радость мою и счастье в светлые и благополучные дни, были надежной опорой в дни тяжкие и черные, о тех, что всегда шли рука об руку со мною, о тех, чьи заслуги передо мной велики, о тех, благодаря которым я стал известен моим землякам и соотечественникам... Эти дорогие и душевные друзья — мои стихи. Нет, не разлучусь я с ними, не покинут они меня, не отвернутся, как могут отворачиваться люди. Ведь для того, чтобы не слу-

чилось этого, и начал я свою книгу с них, со стихов. Это знак моей вечной приверженности, это мой им поклон, признание в безграничной верности и почтении! Они простят меня и великодушно извинят. Бытует в народе мудрость: «Не закрывай за собой входную дверь».

Стихи мои! Вы та неиссякаемая сила, которая до последнего удара будет волновать мое сердце, вы верные и вечные мои спутники!..

Одним словом, я взял в руки перо, чтобы ответить моим читателям. Взял, как канатоходец берет шест, прежде чем ступить на зыбкую протяженность каната. И тут же вспомнились мне слова, слышанные некогда от прославленного нашего канатоходца Ташкенбая:

— Не всем дано ходить по канату. Даже по самому узкому бревну через речку и козел пройдет. Но пройти по канату еще не значит быть канатоходцем. Искусство канатоходца — в уверенной точности каждого движения на головокружительной высоте, в умении обдуманно идти на риск при сознании, что оступаться на тугой дорожке каната опасно и даже смертельно.

Одним желанием в литературе ничего не добьешься. И великий Навои, и какой-нибудь первоклашка одинаково водили пером по бумаге. Все дело в том, что выходило из-под пера у одного и что у другого. Вот и я взял перо в руки, но растерялся, как подслеповатая старуха перед ворохом разноцветных бусин, которые надо нанизать на нитку в определенном порядке. Рассыпались, разбежались передо мной мои разноцветные мысли. Как бы мне исхитриться и гармонично, красиво нанизать их на суровую нитку замысла! Пока я колебался и сомневался, мне, как это часто бывает, помог случай.

Хотя приносит случай и беду,
И даже смерть порой приносит случай,
От случая зато и счастья жду,
Друзья мои, любите в жизни случай!

Однажды осенью, в самый разгар уборки хлопка, мы, группа писателей, а более официально — бригада писателей, поехали в Ферганскую долину. Посылая нас, надеялись убить двух зайцев: с одной стороны, труженики сельского хозяйства, хлопкоробы республики почувствуют заботу о себе, с другой стороны, и писатели кое-что увидят и, возможно, вдохнутся на новые произведения.

Были, помнится, в числе других Саид Ахмад, Мирмухсин, Хамид Гулям... Если присоединить меня к ним троим, то получилось у нас вроде группы внутри группы, потому что мы были давно дружны и в поездке держались вместе.

О чем могут говорить четверо людей, знающих друг друга с детства и к тому же занимающихся одним и тем же делом? Мы шутили, острили один перед другим, рассказывали разные были и небылицы. Разговоры наши начинались с самого утра, едва мы собирались в машине, чтобы отправиться в очередной колхоз.

С Хамидом Гулямом мы росли на одной улице. С Мирмухсином учились в одном институте и даже на одном курсе. Случалось, мы неделями жили один у другого. Вместе готовились к лекциям, вместе и стихи писать начинали. Даже когда жениться собрались, он ходил на смотрины моей невесты, а я — его.

Целую неделю пробыли мы в поездке, и, казалось, не осталось ничего, о чем бы не переговорили. Особенно интересно ездить с Саидом Ахмадом. О родных детях забудешь, по дому скучать перестанешь!

Я хоть и не был завзятым рассказчиком, хоть и не отличаюсь особым красноречием, но тоже старался не отставать от таких златоустов, какими были мои друзья. Заходила ли у нас речь о любителях выпить, заходила ли у нас речь о жадности, о скаредности, я вспоминал к случаю разные истории, которыми обогатила меня жизнь, вспоминал то седельного мастера Махсуда, который продавал дрова, взвешивая их по поленцу на настольных весах, то тетушкиного сына Сунатулла-Махсума, который любил повторять: «Пьяница проспится, а дурак — никогда!»

Все, что я рассказывал, не было, я думаю, невесть каким интересным и новым, однако забавляло друзей, и вот первым из них заговорил Саид Ахмад.

— Послушай, — заговорил он, — ты, пожалуйста, не обижайся, но во время поездки ты один нарассказывал больше, чем все мы, вместе взятые. В твоих рассказах было много и смешного, и серьезного, и поучительного. Сдается мне, что все это ты рассказывал из заготовленного тобой для прозы. Заготовить-то ты заготовил, да сомневаешься, будет ли это интересно, вот и проверял на нас. К тому же не знаешь, с какого конца начать. Так вот я

тебе дам совет: не раздумывай ты больше и не сомневайся, а возьми и пиши, как нам рассказывал.

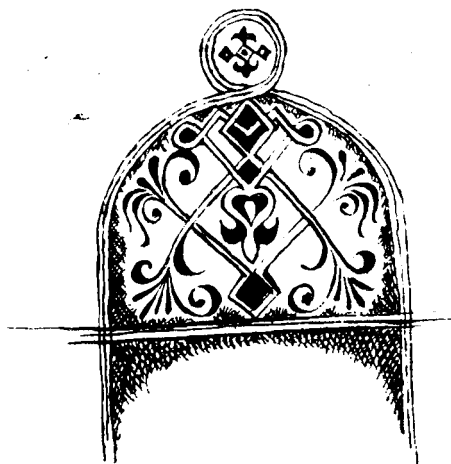
— Можешь добавить туда и то, что от нас услышал, — поддержал Саида Ахмада Мирмухсин.

— То, что ты рассказал о Гафуре Гуляме, об Айбеке, интересно не только нам, но и всем людям. Это же документ, — поддержал друзей и Хамид Гулям.

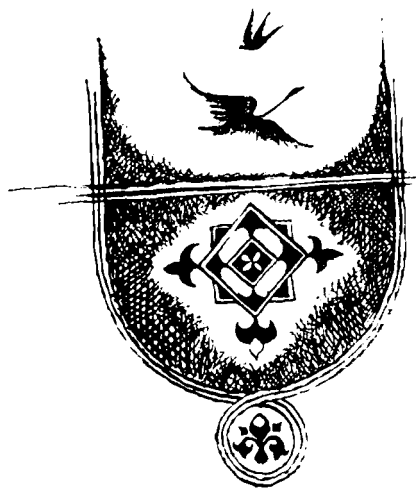
— Но что же это будет за произведение, что за жанр?

— А! Разве в жанре дело. Главное, чтобы книга волновала читателя и была близка его сердцу.

Глубоко в душу запали мне советы друзей, они укрепили меня в том, о чем я и сам думал, развеяли мои сомнения, и в скором времени я набрался духу и ступил на тонкое скользкое бревно, перекинутое через бурную реку. Или скажем так: перестав колебаться перед далеким путешествием и устремив взгляд в неизведанные дали, хлестнул коня.



ВЕРА. НАДЕЖДА. ЦЕЛЬ





Бискупна брат готмта
Ершина Кучоу крафотам,
Ишото крафотаму дута.
Как могогосто дучо, трафота.



Прежде чем подстегнуть коня перед отправкой в далекое путешествие, надо ясно увидеть конечную цель, то место, куда караван в конце концов должен прибыть. Надо подумать как следует, зачем ты отправляешься в долгий путь и насколько ты готов к преодолению трудностей на этом пути.

Отправиться в путь без цели все равно, что идти на охоту без ружья. Каждый охотник, прежде чем выйти на промысел, представляет себе свою добычу и по ней выбирает оружие, соразмеряет охотничье снаряжение. Замысливший охоту на вепря не возьмет с собой ястреба, или беркута, или камышовую трубку, из которой глиняными шариками стреляют по воробьям и другим маленьким птичкам. Эти камышовые трубки зовутся у нас туппак, а кто стреляет из них — туппакчи.

Сосед Мумин так хорошо стрелял из камышовой трубки, что его не называли иначе, как туппакчи. Так вот Мумин-туппакчи всегда говорил: «Не каждого, кто возьмет в руки туппак, можно назвать охотником. Нужна еще голова. Не случайно людей, отправляющихся на охоту, напутствуют словами: «Да будет тебе спутником твоя цель».

Мумин-туппакчи был завзятым, прирожденным охотником. Он сам приручал и выучивал ястребов, немало взял с их помощью всякой пернатой живности. Посади

на одну обмотанную полотенцем руку ястреба-перепелятника, а в другой держа туппак, он шел, обычно под вечер, к водяной мельнице, что находилась неподалеку от мечети. Пока ястреб или сокол подрастет настолько, чтобы годиться для охоты, он кормил их, а заодно и своих гончих охотничьих псов воробьями и дикими сизыми голубями, которые бесчисленными стаями собирались к ночи на карагачах и чинарах близ водяной мельницы.

Туппак, как видим, одна из разновидностей охотничьего оружия. Это длинная-предлинная деревянная трубка. Берут в рот глиняный шарик с большую горошину, подносят туппак ко рту, направляют его в цель и сильно дуют. Глиняный шарик, если, конечно, прицелился хорошо, попадает в птицу, и та падает замертво. Нам, ребяташкам, доставляло удовольствие сопровождать охотника. Так Мумин-туппакчи и шествовал на очередной промысел в окружении шумливой ребячьей стаи. Нам тоже хотелось пострелять из туппака. Мумин снисходительно вручал кому-нибудь из нас свое «грозное оружие». Удерживать-то туппак в руках мы могли, а вот как следует дунуть в него не хватало силенок. У тех, кто постарше, и это выходило, но зато не умели как следует прицелиться. Поглядит на нас Мумин-ака, улыбнется добродушно и заметит:

— Для того чтобы стать охотником, одного желания недостаточно, надобно еще и умение. Но и те, кто меток, еще не могут называться настоящими охотниками. Ведь цель никогда сама себя не подставит: «На, дескать, стреляй в меня...» Надо не одну ночь провести в лесу, немало побродить по кустарникам да камышовым зарослям, немало покарабкаться по холмам да горам. А еще обязательно надо верить в удачу. А еще — надо мечтать.

Всякий человек живет своими мечтами и чаяниями. Но осуществляет их лишь тот, кто правильно выбирает цель. И у мечты должны быть разумные пределы. Охотник не будет мечтать о новых сортах яблонов, он будет мечтать о крупной добыче, будет изучать места, где водится разная дичь, в то время как садовод не мечтает о кабанах и лисах, а все силы тратит на лучшее возделывание земли и на выращивание земных плодов, на освоение новых земель, на выведение новых сортов.

Но даже и разумный мечтатель ничего не добьется, если будет сидеть и мечтать сложа руки. Яблочко само не вырастет и в рот не упадет.

В детстве, когда не хотелось учить уроки, я обыкновенно оправдывался перед отцом:

— Что-то голова у меня не варит, не соображаю ничего.

На это отец отвечал:

— Очень даже хорошо голова у тебя варит. Если бы не варила, ты не придумал бы такой причины для своей лени. А лень, сынок, это тяжелый недуг, порождающий еще более тяжелый недуг, — самооправдание и самообман. Способный лентяй хуже бесталанного, но усердного и упорного в труде человека. Тот, кто надеется на свои способности, обычно рассуждает так: «Учиться? Трудиться? Да я все это в один миг сделаю!» Тянет с делом, откладывает его под тем или иным благовидным предлогом, успокаивает себя, предается праздному пустословию. А в результате? Мало ли вокруг таких, что способности свои растратили на пустую болтовню, а ничего путного в жизни так и не сделали, ничего не достигли. И мало ли таких, которые не блистали выдающимися способностями, но зато старались. Глядишь, они и школу закончили, и работают сейчас не хуже других!

Вон, возьми своего старшего дядю. По сравнению с младшим он был в детстве куда как сметливее и сообразительнее. Когда он учился в институте, все прочили ему чудесное будущее. Ни у кого и сомнения не было, что из него выйдет большой ученый. Да, замечательных способностей был парень, но лодырь, каких не сыщешь.

— Я вам не паровоз, чтобы шпарить по готовым рельсам, — говорил он, вместо того чтобы прилежно учиться, — я не хочу идти по накатанной дороге, я буду прокладывать новые пути...

Но не подумал он о том, что новые пути сами под ноги мягким ковром не стелятся. Новые пути прокладывают упорным трудом.

И что же получилось с ленивцем? Подоспели экзамены, подготовиться он не успел, наполучал двоек, бросил институт, а там женился, поступил на работу. Теперь как будто понимает, что надо бы учиться, да уж стыдно ему,

человеку в годах, садиться на одну скамью с безусыми юнцами.

А твой младший дядя, хоть и не обещал так много, но, если уж брался за какое-нибудь дело, не бросал его, пока не доведет до конца. Выучился и немалого добился в своем деле. Нет, без упорного труда ничего не достигнешь.

Тут я вспомнил поучительную историю, которую мне рассказал один старик в Мирзачуле, то есть в Голодной степи. С этим стариком я встретился, когда он старательно высаживал молодые яблоньки и айву. Мы поздоровались, пожелали друг другу удачи, как это принято у нас, да, наверное, и у всех других народов. Только если русские говорят «бог в помощь» и «спасибо», то мы говорим «харманг» и «бор булинг», что значит: «не устать вам», «живите»; так мы и поздоровались:

— Харманг!

— Бор булинг!

Земля там вся пропитана солью. То и дело налетают суховеи. Я подумал, что зря хлопочет старик со своими саженцами. Да и ради чего старается этот согбенный, седовласый земледелец. Все равно не дождаться ему плодов с этих деревьев.

— Да разве может здесь что-нибудь расти? — спросил я.

— Надеждою мир жив. Я родом из Ферганской долины, там, было время, тоже ничего не росло, а теперь и чинары, и карагач, и сады по холмам. Царство изобилия и умиротворяющей прохлады. Как ты думаешь, это само по себе все выросло?

— Но сколько вам лет? Что толку!.. — заговорил было я.

Старик нахмурился.

— Мой отец был старше, чем я теперь. Ему было за девяносто, когда он вот так же сажал молодые деревья и точно так же остановился около него молодой человек. Только он был байвачча — байский сынок. Он проезжал мимо верхом и остановился около моего отца. Точно так же он удивился и спросил, сколько отцу лет, а услышав, что больше девяносто, пришел в изумление:

— Так что же вам не сидится спокойно в прохладной тени? Ведь одной уж ногой в могиле...

— Мир надеждою жив, — ответил байвачче мой отец.

— Надежда, надежда!.. Если ты съешь с этих деревьев хоть один плод, я разойдусь с любимой женой и прогону ее от себя!

Прошло несколько лет. Деревца выросли, начали плодоносить; на месте тоненьких и хрупких саженцев образовался пышный и тенистый сад. И вот как-то в летнюю пору тому самому байвачче довелось снова побывать в этих краях. Его мучила жажда, и он окликнул хозяина сада, чтобы попросить у него пиалу холодной воды. Вышел весьма и весьма уже почтенного возраста благообразный старик и, пригласив гостя в дом, поставил перед ним поднос с самыми разными фруктами. Байвачча с удовольствием принялся за них, а когда немного утолил жажду, то заметил, что старик не притронулся к этому дразняще-ароматному и медово-сладкому изобилию. Удивленный гость не удержался и спросил причину этого. Старец ответил:

— Я, сынок, сад этот вырастил не только для себя, а для того, чтобы плодов его мог отведать каждый проходящий и проезжающий мимо. Сам же, однако, ни одного плода с его деревьев я не попробовал.

— Но почему?! — в изумлении воскликнул байвачча.

— Боюсь, — признался старик. — Стоит ведь мне надкусить хоть один, ты прогонишь от себя любимую жену.

Только тогда гость узнал в хозяине старика, которого ранил когда-то легкомысленным словом. Байвачча сокрушенно ударил себя кулаком по лбу, поняв, насколько бессмысленна жизнь, легкомысленная и праздная, без определенной цели и надежды на будущее.

Арык тем и арык, что по нему течет вода. Арык без воды просто заброшенная канава. Человек без надежды и цели не лучше ее. Он бессмысленный мешок, набитый костями и мясом.

Надежда — это рвущийся в полет сокол, а безнадежность — камни, привязанные к ногам.

Осознание и понимание этого становилось для меня опорой и поддержкой в жизни, когда душою овладевала усталость и заползало в нее отчаяние безнадежности. Это помогло мне ухватиться за кончик нити в запутавшемся

клубке противоречивых мыслей и нерешительности. Я обрел ясную цель и надежду на ее достижение.

С миру по горстке, говорят у нас, всю жизнь сыт будешь, с миру по щелчку — убит будешь.

Тому, кто пришел на той, подают плов, не спрашивая ни имени, ни звания. Он же, когда шел, надеялся получить этот плов. Можно ли обманывать его надежду?

Кто на мельницу придет, у того брови в муке будут.
Кто мимо водопада пройдет, обрызган будет.

* * *

Мечта — газель, что по ущельям скачет,
Надежда — птица, что стремится ввысь,
Но обе ничего они не значат
Без тяжкого труда. Впрягайся и трудись!





Всѣ создалъ ерофокъ и сѣтъ и мръкѣ,
Ты, ерофокъ, смеешь ли здѣсь и правды,
И если и мире то-нибудь не такъ,
То такъ же и въ тебѣ правды.



нашем народе человеку, затеявшему какое-либо важное дело или путеше-

ствие, говорят: «Что ж, ты сам себе голова, только все обдумай как следует». Буквально это звучит так: подумай, положив тюбетейку на пол. Вот и я, собравшись перенести на бумагу все, что знаю и слышал, положил свою тюбетейку на пол и призадумался. Подумаю немного, погляжу на свою тюбетейку, погляжу и опять подумаю. И вот уж вместо тюбетейки мне увиделось целое земное полушарие. Чем дольше глядел я на нее, тем отчетливее вспоминались пути-дороги, которые мы проехали с друзьями, неожиданные события, с которыми пришлось столкнуться. Ожили все наши разговоры.

Первый день нашей поездки был, пожалуй, самым ярким, и в то же время именно в этот первый день случилось два события, омрачивших наши души.

Из Ташкента мы решили выехать пораньше. Шел уже конец сентября, а дни все еще стояли по-летнему жаркие. По первым же лучам восходящего солнца, словно расплавленным золотом оплеснувшим лобовое стекло машины, мы поняли, что день опять будет знойным. Едва мы миновали реку Чирчик, как по обеим сторонам дороги раскинулись хлопковые поля в белоснежной пене пышно раскрывшихся коробочек. За хлопковыми полями, смыкаясь с ними, простирались слегка всхолмленные пшеничные по-

ля, которые, в свою очередь, переходили во взгорья, а все это венчали снежные шапки Кураминского хребта.

К полудню мы были у подножия горы Кемшик и, прежде чем подниматься на перевал, решили немного отдохнуть в придорожной чайхане. Да и вообще места эти обладали какой-то притягательной, завораживающей силой. Не окажись на нашем пути чайханы, мы все равно, наверное, остановились бы здесь, ибо у кого хватит сил проехать мимо такой красоты? С четырех сторон голубой небесный купол разноцветными величественными колоннами подпирали горы. По их склонам, будто шагая к вершинам, выстроились стройные ели. Трудно было отвести восхищенный взгляд от зарослей боярышника и ореховых рощ. Мы боялись даже пошевелиться, чтобы не исчезла вдруг эта волнующая, словно рукою великого художника созданная картина. У самой чайханы стремительно несла между скал свои светлые струи речка Ахангаран. Воды ее были настолько чисты и прозрачны, что казалось, как у нас в народе говорят, никто еще и никогда не погрузил в нее ведра. Так и любовался бы игрой шустрых рыбьих стай, что резвились в прозрачной воде горной речки, мелькали то здесь, то там между валунами, словно откованными из серебра, так и хотелось броситься к этим рыбам, окунуться в благодатную свежесть хрустальных струй. Но прохладиться нам было некогда. Дорога предстояла неблизкая, а солнце уже заметно стало клониться к западу. Только было мы собрались тронуться в путь, как мимо нас прошел средних лет сухощавый мужчина со смуглым, обветренным горными ветрами лицом. Прошел, взглянул на нас, сделал еще несколько шагов и остановился, как бы натолкнувшись на стенку. Потом повернулся и бросился к нам. Он широко раскинул руки, собираясь обнять кого-то из нас, глаза его заблестели, и он спросил:

— Вы... писатели?

— Да...

— Шукрулло!..

— Да, я Шукрулло.

— Дружище! Да ты ли это в самом деле?!

Пока я вспоминал, кто бы это мог быть, он крепко обнял и расцеловал меня, возбужденно повторяя:

— Нет, вы только поглядите! И надо же такому случиться! Да ты хоть узнаешь меня?

— Узнал, — тянул я с ответом, тщетно силясь вспомнить, кто бы это мог быть... — Как не узнать?.. Тебя ведь зовут...

— Далабай!

— Далабай!.. Как тебя не узнать! Ведь мы с тобой сорок лет назад учились вместе!

Теперь-то я его вспомнил. В раннем детстве Далабай остался круглым сиротой, воспитывался в детском доме. Несколько лет мы с ним учились в одной школе. Мы разговаривались. Я узнал, что теперь он уже отец семейства, работает в совхозе ветеринарным врачом.

Далабай стал настойчиво приглашать всех нас в гости. По случаю неожиданной радостной встречи обещал зарезать барана и устроить праздничное застолье. Приходилось вежливо, чтобы не обидеть Далабая, отказываться, ибо нет для узбека большей обиды, чем если дорогие гости отклоняют его приглашение. Но тут и мои друзья поддержали меня.

— Были бы ноги, дорога всегда найдется. Нам ведь до самой Ферганы ехать, и, если на каждом шагу будут встречаться друзья Шукрулло или Мирмухсина, мы никогда не доберемся до цели.

Однако Далабай никак не хотел расставаться со мною. Встреча эта, как видно, многое всколыхнула в его душе, и он, будто встретившись опять со своим детством, задавал мне вопрос за вопросом:

— А тот ваш старый домишко еще цел? А детдом еще сохранился?

— Все сохранилось...

Мой ответ еще больше взволновал Далабая.

Я думал, он и дальше будет возбужденно расспрашивать меня, но он вдруг замолчал, задумался, загрустил. Замолчал он прямо-таки на полуслове, словно его выключили, и о чем загрустил, судить не берусь, но встреча со школьным товарищем разбередила и мою память. Будто освещенный заревом далекого пламени, увиделся мне наш дом, наш двор.

Если кто-нибудь когда-нибудь спросит у меня, что я вижу в первую очередь, когда вспоминаю детство, я, не задумываясь, отвечу: дом, в котором родился. Вспоминается мне, конечно, многое, что я увидел впервые в жизни, — и небо, и солнце, и дождь, но дело в том, что все это я увидел из этого дома. И первые удары грома



я услышал на своем дворе, и на шумный весенний ливень, каждая капля которого казалась мне с чучвару*, смотрел с удивлением и восторженным ужасом из окошка родного дома.

Никто из нас не помнит, наверное, когда он первый раз увидел солнце. Это как лицо матери: кажется, что оно было всегда и видел его всегда. Но все же мне запомнилось утро одного весеннего дня. Первое, о чем я думал, проснувшись и еще не открыв глаза, всегда был бумажный змей. Он зацепился однажды за верхушку тополя, да так и болтался там. По нему хорошо было узнавать, есть ли на улице ветер, поэтому я, проснувшись, первым делом взглядывал на верхушку тополя и на бумажного змея, прицепившегося к верхушке. Солнечные лучи всегда озаряли сначала вершину этого тополя, и листья его начинали ослепительно сверкать и трепетать на солнце, словно облитые золотом. Утренний ветерок дул на легкого змея, и его мотало из стороны в сторону. Листва тоже трепетала на ветерке и переливалась золотыми красками. От сильного порыва ветра змей стремительно взмывал вверх, но нитка натягивалась, и он застывал на месте, а потом, когда ветер ослабевал, бессильно опускался вниз.

Солнечное золото между тем медленно скользило с верхушки тополя, заливая нижние ветки. Вот оно освещало камышовую крышу кухни, вот ложилось на цветы ириса, растущие в изобилии около протекающего через наш двор арыка, а затем солнечные лучи освещали и небольшой прудик. Когда я умывался студеной водой из этого прудика, я вдруг увидел на дне его отражение солнца, да и не отражение, а словно бы само солнце, цельное, круглое, и мне до сих пор кажется, что солнце я тогда увидел первый раз в жизни.

Я помню все: и как весной на глиняных крышах домов среди шелковисто-зеленой травки ярко распускались цветы, особенно маки, как сновали там в благоухающем и многоцветном царстве золотые жуки, как пышно в садах расцветал урюк...

Я сейчас не смогу назвать по имени ни одной из тех девчонок, которые вплетали в свои косички ивовые сережки, но я отчетливо помню, как трепетали под дунове-

* Чучвара — особый вид мелких узбекских пельменей.

ннем весеннего ветерка эти нежные сережки на самих ивах, что росли вдоль арыков, я и сегодня переживаю то наслаждение, когда тебе в лицо бьет этот настоящий на пьянящих ароматах весенний ветерок, целомудренно свежий и по-детски шаловливый.

Помню, как мы привязывали к питке пучок шелковистой весенней травы и пускали его по течению речки. Любимая, между прочим, во времена моего детства игра узбекской детворы. Помню, как, сидя на мосту, я задумчиво глядел на бегущую внизу мутную воду, не обращая внимания на правоучительные замечания прохожих. Даже вкус плывущих по этой воде тутовых ягод хорошо помню. Я забыл уже лица тех друзей, с которыми мы играли в бабки и ляngu*, но до сих пор помню все переулки и закоулки нашей махаллы**, все излюбленные места ребячьих игр, помню те особенные биты, которые свистели в воздухе, запущенные меткой и сильной, сноровистой рукой, помню все правила и приемы наших игр, помню замерзшие хаузы (прудики), которые становились для нас отличными катками.

— В махаллу нашу, которая моему детскому воображению представлялась целым миром, необъятной вселенной, я также вышел, переступив порог родного дома.

Трепещет змей, за тополь зацепившись,
И хлопает легонько на ветру.
Как я любил глядеть, глазами впившись,
На этот змей, проснувшись поутру.

Где этот змей? Наверно, оторвался.
А детство где? Где этот детский змей.
Ужели я отбегал, отсмеялся?
Что жизнь моя и что я значу в ней?

Ловил рыбешку около запруды,
И гарцевал на пруте напрямик.
Когда?
Вчера.
Прошла одна минута.
Мгновение.
И я уже старик?

* Лянга — свинцовая бляшка с прикрепленным к ней кусочком овчины, которую подбрасывают погой. Существует множество приемов игры, требующих поистине виртуозного, если не акробатического, мастерства.

** Махалла — городской квартал. Приобретает значение как бы малой родины, вроде родной деревни или большого московского двора.

Обо всем этом думал я, глядя на Далабая, никак не мог оторвать взгляда от его постаревшего, до неузнаваемости почти изменившегося лица. И он тоже смотрел на меня и, казалось, кричал мне взглядом: «Друг, друг моего детства, ну останься хотя бы на один вечер, наговоримся, наглядимся, навспоминаемся».

Мы попрощались с Далабаем, но встреча не могла так легко забыться, сгладиться в душе, разговор завертелся вокруг превратностей и неожиданностей всякого путешествия. Тут мне вспомнился рассказ отца об одном его путешествии.

Такова уж была профессия моего отца, что большую часть своей жизни он вынужден был проводить в поездках. У каждого задуманного путешествия есть два основных достоинства, считал он.

— Первое заключается в том, — говаривал мой отец, — что отправившийся в путь человек на первом же перекрестке обязательно оглянется назад, и не потому, что он забыл что-нибудь, но потому, что меру и протяженность предстоящего пути он всегда отсчитывает от родного порога. И потом, по бреху дворняг, которые неугомонными стаями увязываются за каждым прохожим на улицах кишлака, по утихающему постепенно и трудно уже различимому их лаю ты начинаешь определять, насколько далеко ушел от дома. Дороги не всегда бывают ровными и гладкими, встречаются на них бугры и выбоины, приходится перебираться и через овраги. И вот когда, подстегнув коня, поднимаешься ты на холм, снова обязательно оглянешься назад. Остановишься на мгновение, отыщешь среди бескрайней долины свой кишлак, который едва выделяется теперь среди других кишлаков, и постарайся наугад определить, где твой дом. По могучей чинаре, что взметнула в небо свою крону, в тени которой и покоится твой дом, догадаешься ты о его местонахождении. Вглядишься ты в то место попристальнее, и перед твоим мысленным взором предстанут твои домашние, что на помосте в тени той же чинары приготавливают что нужно для плова. Покажется тебе, будто слышишь, как они состязаются в острологии, как беззаботно и звонко взрывается в ответ на меткое словцо дружный молодой смех. И въедешь ты в город, и одолеешь перевал, и другой, третий, и тогда все уже останется позади: и твой дом, и мать, напутственной мо-

литвой проводившая тебя в путь и у порога дома заставившая откусить от целой лепешки, чтобы путешествие не было опасным и чтобы судьба снова привела тебя в родной дом, и любимая твоя, и друзья-приятели. Все исчезнет из виду. Но, и не видя их, ты ничего и никого не сможешь забыть. Ведь в какой бы край ты ни прибыл, в какую бы гостиницу и в чей бы дом ни пришел, первый же встреченный тобою человек поинтересуется, кто и откуда ты. И ты непременно вспомнишь родные места, дом, в котором родился. И снова все это оживет перед твоими глазами, и не только оживет, но и заставит другими глазами посмотреть на весь мир, что окружает тебя. Заметишь ты то, на что раньше не обращал внимания, узнаешь истинную цену тому, что, может быть, совсем не ценил. Путешествия научат тебя умению оценивать прожитое, делать выводы из увиденного и пережитого.

Человек, забывший отчий край, подобен вырвавшемуся из мальчишеских рук бумажному змею. За что-нибудь он, конечно, зацепится, где-нибудь повиснет, но в конце концов истреплется в клочья. И мяч, как бы высоко ты ни запустил его в небо, все равно падает на землю.

Второе достоинство путешествий в том, что ты никогда, пока путешествуешь, не забываешь о своем отце. Куда б ты ни прибыл, ты обязательно, называя имя свое, назовешь и имя отца*. За все доброе, что ты делаешь в жизни, люди прежде всего говорят: «Отангга рахмат!»** Человек никогда не перестанет помнить об отце и дорожить его именем.

Верблюду окрик силы придает.
Веревке волос, говорят, подмога.
Моей душе на помощь кто придет
В дни одиночества, поддержит хоть немного?

Когда юнцом из дома уходил,
Отец держал светильник на пороге,
Он путеводной звездочкой светил.
Чтоб дом родной не позабыть в дороге.

* Раньше, да и сейчас в отдельных случаях, у узбеков и у других восточных народов имя отца становилось фамилией его детей.

** Отангга рахмат (букв.: «Спасибо твоему отцу!») — Молодец! Bravo!

Уже уйдешь далеко от ворот,
А он горит, опора и отрада.
И только перевал иль поворот
Его, конечно, прятали от взгляда.

Где хлопковое поле? Где кишлак?
Но я мешок поправлю и шагаю.
И легок путь, и мой уверен шаг,
Ведь я огонь отцовский вспоминаю.

Скудеет лет отпущенных запас,
Отец в могиле, там, за перевалом.
Но огонек отцовский не погас,
Душе и сердцу светит как бывало.

Каких бы мне ни выпало тревог,
В какой бы дальней ни был я дороге,
Перед глазами отчий дом, порог,
Отец с огнем прощальным на пороге.

Верблюду помощь окрик седока,
Веревке волос, говорят, подмога.
О Родина, когда б моя строка
Тебе была поддержкой хоть немного!

Так, разговаривая и размышляя о достоинствах и особенностях путешествий по белу свету, мы не заметили, как миновали межгорья, как остались позади многочисленные перевалы. Но прошло еще несколько часов, а до намеченного места мы так и не добрались. Вскоре выяснилось, что, желая проехать кратчайшей дорогой, мы просто-напросто заблудились в необозримых просторах Язаванской степи. И спросить не у кого было, куда нам ехать дальше. В довершение всех бед что-то поломалось в машине, она фыркнула, чихнула и заглохла. Как говорится, мало лихорадки, еще и чирей.

Вокруг неоглядь, тишина до звона в ушах и жестокий, прямо-таки испепеляющий зной. Лишь изредка доносится откуда-то писк степных птиц да неумолчный стрекот кузнечиков. Солнце все ярится и ярится, воды ни капельки, и тени ни с пятачок. Во рту пересыхает, все труднее становится дышать. Рядом бугрится свежeverытая земля вдоль трассы прокладываемого канала. Канала еще нет, а саженцы чинары кто-то уже успел высадить. Загляделся я на эту изнывающую от палящего летнего зноя степь, и вот какие мысли родились в моей гудящей от жары голове.

...Где бы и когда ни заговорили люди об Узбекистане, причем и те, кто побывал в нем, и те, кто видеть его не видел, одинаково называют Узбекистан «солнечным краем». Или, помимо Узбекистана, и солнца нет нигде?

Солнце на весь мир одно! Нет на земле человека, который бы никогда не видел его, нет на земле места, куда бы не изливались его лучи, — все пользуются его благотворным теплом и светом. Но почему же тогда каждому, кто посетит мой край, кажется, что он впервые оказался под солнцем, почему он удивляется, изумляется ему, будто видит это солнце первый раз в своей жизни?..

Но и то правда, нигде в мире, щедро ли, скупо ли льет солнце свои лучи, не увидишь его в такой первозданной, незамутненной красе. О царское великолепие солнца, сияющего над моим родным краем! Как чисты, как прозрачны (хотя и золотисты) изливающиеся с неба лучи, каким живым многоцветьем радуги расцвечивают они все вокруг! Кажется, что струящееся золото солнечных лучей не только ослепительно сияет, но и поет, звенит какой-то неслыханной волшебной мелодией.

Но только ли солнцем, как бы щедро и прекрасно оно ни было, очаровывает человека мой край, только ли в солнце вся его прелесть и все его совершенство? Нет, нет и нет! Вот что я понял и почувствовал, когда мы вынужденно стояли около отказавшей машины под палящими лучами солнца среди томящейся от зноя степи, переливавшейся на далеком горизонте призрачными волнами зыбкого марева.

Разве не то же самое солнце выжигало, испепеляло нежную весеннюю зелень этой степи, разве не оно превращало ее в иссушенную, раскаленную пустыню, над которой и птица не пролетит без того, чтобы не опалить своих крыльев?! Разве не это солнце заставило не одного путника стонать, тщетно звать о помощи, когда он терял последние силы в поисках хотя бы пяточка спасительной тени, хотя бы капли воды, которая в пустыне всегда была дороже золота?

Нет, тайна чарующей красоты узбекистанского солнца в другом. Здесь не только увидишь его ослепительные лучи, не только испытаешь на себе их жар, но сможешь даже попробовать их на вкус, насладиться их пьянящим ароматом. Кто хочет познать вкус солнечных лучей, пусть пожалует ко мне в гости, отведаст в моем саду ме-

довой сладости инжира и винограда, благоуханной мякоти сахарных дынь. А превращает солнечные лучи в благоуханную медовую сладость плодов узбекский дехканин, неутомимый земледелец, трудолюбивый и мудрый властелин природы! И можно ли после этого не поклониться в пояс узбекскому дехканину, не воздать хвалу его рукам, его душе?

Тот, кто хочет подышать ароматом солнечных лучей во всем разнообразии, пусть тоже приезжает к нам, но только весной. Он увидит холмы и взгорья, пылающие тюльпанами, пестреющие фиалками, мятой, чебрецом, базиликой. Сотни разнообразных роз напоят воздух своим ароматом. Надышаться им — все равно что пригубить солнца. Тотчас заиграет в сердце, побежит по жилам, зашумит в крови его животворящая сила. Сколько бы ни восхваляли наших дедов и прадедов, каких бы ни писали о них возвышенных од, все равно будет мало. Нет меры щедрой душе земледельца, одаряющего счастьем и свой народ, и все человечество!

А кто захочет увидеть все цвета и оттенки нашего солнца, пусть хоть раз взглянет на переливы маргеланского шелка, вобравшего все краски земли, все тепло устремленного к прекрасному человеческого сердца. Пусть погладит он шелковистый мех каракуля, отливающего то вороненой чернью, то сизоватым серебром, то золотом весенней зари, то... Нет, это нельзя передать словами, это надо только видеть! Разве можно не воздать хвалы замечательным мастерам, одевающим народ в одежду, сотканную из золота и шелка солнечных лучей, делающего человека еще более прекрасным!

И тот, кто захочет сердцем почувствовать неиссякаемую щедрость солнечного тепла, пусть посетит мой край. Сколько тепла, сколько жара и солнечного, и тепла рук, человеческих сердец в одном только кусте хлопчатника! Когда на землю ляжет холодный снежный покров, когда солнечные лучи заслонятся от нас черными громадами туч, когда тело сковывает мороз и ледяной ветер пронизывает нас до костей, разве не целомудренная белизна хлопка согревает наше тело, дарует благодатное тепло нашей душе?

Солнце и хлопок! Они в моем краю близнецы-братья. Узбекистан невозможно представить без солнца и хлопка. На этой земле во всей полноте проявляется и мощь, и

созидательное искусство солнца. На ней солнце превращается в золото. Оно одевает и украшает миллионы и миллионы людей. Множеством путей разнообразно служит оно человеку.

А потому могу ли я не воздать хвалу, не поклониться в пояс моему трудолюбивому народу-хлопкоробу, тысячелетним земледельческим трудом своим, золотыми руками и мудрым разумом своим показавшему всему миру истинную цену солнца, истинную его славу и могущество?!

Если бы народ не прорыл в пустынях каналы, не напоил землю живой водой, то и могучая Аму, и своенравная Сырдарья, не покоренные ни одним ханом, ни одним султаном, до сих пор зловеще сверкали бы холодным блеском обнаженных сабель, обрекая на медленное умирание от жажды иссушенные степи, что раскинулись неоглядно по их берегам. Ни Мирзачуль — легендарная Голодная степь, ни Каршинская степь не превратились бы без мудрой силы человеческих рук в цветущие и изобильные края, не стали бы хлопковыми полями. Да, это в труде моего народа-хлопкороба солнце обрело свою истинную красоту, чтобы щедро одарять ею человека! Вот в чем вся тайна красоты нашего солнца и всего Узбекистана, который по праву называют солнечным краем.

Погруженный в эти мысли об узбекистанском солнце, я не заметил, как и луна уже взошла. К этому времени, исправив с грехом пополам машину, мы уже приближались к Андижану. По обеим сторонам мелькали бескрайние хлопковые поля и пышные, но уже тронутые осенним увяданием сады. Луна, зависнув над самыми высокими чинарами, будто стерла с листьев пыль, что нанес знойный «афганец», и листва сверкала теперь мягкими переливами серебра. Урожай в садах был уже убран. Яблони, груши, все другие деревья весело и облегченно шелестели листвою, будто возвещая миру: «Мы отдали людям свои плоды». Этот шелест умиротворяющей музыки разносился далеко окрест, и слышались мне в этой музыке возвышенно-горделивые ноты.

Шелестя и шурша, облетают деревья садов,
Пожелтела листва, чтоб упасть, ей не нужен и ветер.
Облегчась от тяжелых, румяных и сладких плодов,
Как легко распрямились у яблонь порожние ветви.

Облетает листва. Наступают осенние дни.
Тишина разлилась по бахчам, по садам, огородам.
Посмотри на деревья — все отдали людям они,
Они отдали все, они чище тебя пред народом.

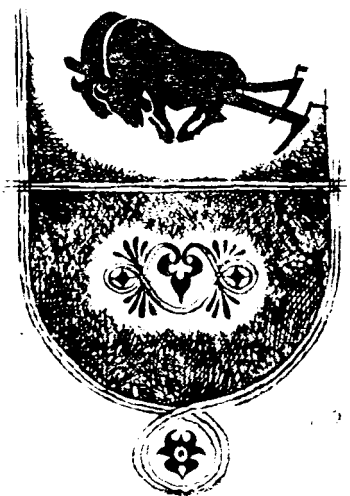
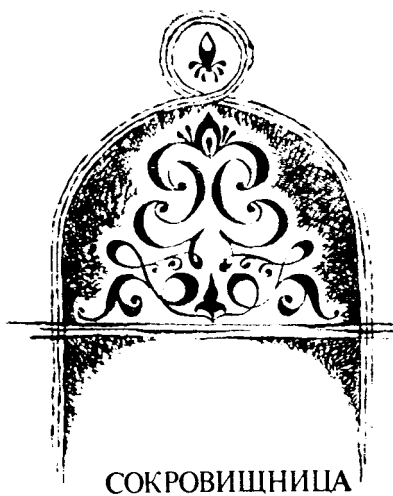
Я прочитал друзьям это только что родившееся во мне стихотворение, и они шумно одобрили его.

— Видно, на тебя нашло вдохновенье, давай сочиняй еще, лови мгновенье!

Вдохновенье, вдохновенье! Да что же оно такое? Бывает, мелькнет, сверкнет искра в душе и в мыслях, хватаешься за перо, расстилаешь перед собой непорочную белизну бумаги, которая словно только и ждет, чтобы ты ее исчеркал. Исчеркаешь, испишешь груды незащитной бумаги, но того, что тебе хотелось, того, что ждал, так и не получается. Значит, ты оказался жертвою мнимого вдохновения, лишь слабого его отблеска, которого недостаточно, чтобы даже самая замечательная мысль обрела живую и волнующую образную плоть стихотворения. Подлинное вдохновение — это пламя, искра которого долго тлеет в сердце поэта, набирая силу, питаясь тем, что поэт по-настоящему любит, постепенно разгораясь от того, над чем он мучительно думает, что всем существом своим переживает, чтобы потом волею непредвиденного случая, какого-нибудь самого неприметного события в жизни вспыхнуть сильным и ослепительным пламенем, даровать мысли могучие поэтические крылья!

На мой взгляд, вдохновение — это не сажень хоть и отличных дров, готовых к горенью, но пока холодных. Если уж и сравнивать его с дровами, то с теми, к которым поднесли огонь. Они начинают тлеть, нагреваются, а потом от дуновения мимолетного ветерка вспыхивают разом, дружно и жарко.







Анатолий Фроловский и. Голубев
Симона отъезду, Трабу - отъезду
Отъезду, Трабу - отъезду
Трабу - отъезду, Трабу - отъезду
Трабу - отъезду, Трабу - отъезду



Сегодня с утра все мы во власти вчерашних дорожных впечатлений. Невольно каждый из нас переживает, наверное, вчерашнее, осмысливает, раскладывает по полочкам на своих писательских складах, хоть внешне идет жизнь как жизнь.

Саид Ахмад и Мирмухсин о чем-то оживленно беседуют на берегу прудика под плакучими ивами. То и дело там у них слышатся взрывы смеха. Хамид Гулям разговорился с почтенным старцем, седовласым и даже, можно сказать, величавым старцем, хотя он всего лишь здешний садовник. Здесь же и Адыл Якубов, приехавший на несколько дней раньше нас и теперь, так сказать, воссоединившийся с нами. В руках какая-то веточка, которую он в рассеянности или, напротив, в задумчивости покусывает, шагая между деревьями и клумбами, горящими последними своими осенними красками.

— Ну и как, Адыл-джан, нашел героя? — спрашиваю я у него.

— Н-да... В том-то и дело, что очень уж их много кругом, героев. Каждый, кто работает здесь, на земле, годится в герои. Но попробуй перенести его на страницы повести или романа, воссоздай его, чтобы оказался живым, интересным... Вам, поэтам, куда проще...

— Это еще как сказать... Вот ты поговорил с одним человеком, с другим, и они сами тебе обо всем расскажут: кто они, чем занимаются, что думают, что любят

и что ненавидят... Трудно ли потом записать услышанное? Поэту же приходится создавать стихотворение лишь силою собственного своего воображения.

В словах моих не было как будто ничего смешного, но Адыл-джан расхохотался.

— Чего это вам вдруг стало так весело, хотел бы я знать?

— Станный вы человек! Что может быть интересно в том, что со скрупулезной точностью, стенографически записано с чьих-то слов? Да меня же никто читать не станет. Ну, положим, отдадут мне должное: сумел, дескать, передать живую человеческую речь. Но ведь тут же спросят: а сам-то ты что понял из услышанного, какие для себя и для нас, читателей, сделал выводы, как отозвались чужие слова в твоём собственном сердце и как ты сам к ним относишься? А вот это и есть самое трудное!

— Да... Вот потому-то мой покойный отец не хотел, чтобы я занимался стихами.

— Ваш отец? Это почему жё?

— Как и все на свете отцы, он беспокоился не о том, какую профессию я выберу, а о том, чтобы я прежде всего стал настоящим человеком. С раннего детства он старательно внушал мне одно и то же: «Нет плохих и хороших профессий и ремесел, есть плохие и хорошие люди. Дурной человек и самую замечательную профессию покроет позором, а хороший — и самым заурядным ремеслом многого достигнет в жизни, завоюет почет и уважение. Поэтому попробуй-ка сначала стать настоящим человеком, а потом уж писать стихи.

Жили в нашей махалле два человека, Абдурасул-Лочин и Алим-тура.

Абдурасула с детства отличали правдивость и добросердечие. Он был удивительно сметлив и расторопен. Ни одной свадьбы, ни одного праздника в махалле не обходилось без Абдурасула. И был он там не праздным зевакой: как только придет, так и найдет себе дело. То котел поможет поднести, то гостей встретить. И все это бегом, и все споро, красиво. А как увидит, что помощь его больше не нужна, не сидит, подобно другим, рот до ушей, пока не попросят уйти — сам незаметно исчезнет, как и пришел. Где бы у кого ни возникла какая нужда, он тут как тут, и не успеют, как говорится,

и глазом моргнуть, а работа уже сделана. За эту расторопность и сноровку — как с поднебесья сокол бросается на добычу, так Абдурасул бросался на любое дело, которое могло бы принести людям пользу, — и прозвали его в махалле Лочин, то есть Сокол.

Абдурасул рано лишился отца и, несмотря на то, что хорошо закончил среднюю школу, вынужден был пойти работать на завод, чтобы кормить семью.

Алим был полной противоположностью Абдурасулу. Сметливым и расторопным его назвать было, пожалуй, нельзя, но зато краснбай он был отменный. Разговор — коробами, а дело — крохами. Слова его хоть мешками таскай, а за делами его — в Самарканд поезжай. Но вообще-то он был человек общительный, компанейский, или, как по-современному, по-ученому бы сказали, коммуникабельный.

И всевозможные праздники он тоже любил, особенно свадьбы. Но только если Абдурасул суетится и помогает, хлопочет, то для Алима была первая задача сесть за столом поближе к почетным гостям, к начальству какому-нибудь, к важным людям. И если это ему удастся; то заливается соловьем, чтобы угодить и понравиться. А еще любил он важных людей чаем угощать. Так это у него мастерски получалось, что самое каменное сердце смягчал подобно воску.

С большими стараниями, не без участия отца поступил Алим на исторический факультет, окончил его и несколько лет разъезжал по районам, читал какие-то лекции.

Абдурасул, бывало, до своей работы скромненько на трамвае или на автобусе добирается, Алим же предпочитал всем видам транспорта такси, да так, чтобы мчаться, вздымая клубы пыли, с ветерком, пусть все видят, что Алим едет.

Вот и стали его звать в махалле не просто Алим, но Алим-тура. Вообще-то эта приставочка «тура» прибавляется к мужским именам при почтительном обращении, и означала она когда-то «господин», «человек высокого происхождения». Однако в применении к Алиму звучало это прибавление иронически, если не насмешливо. Получалось вроде: Алим-барин.

Прошло немного времени, и Алим-тура стал председателем какой-то районной организации. Теперь его только за глаза называли Алим-тура, а лично обращались к нему

все больше — раис, председатель. Не успели оглянуться — Алим-тура уже в городе, вышел на республиканский масштаб, занял персональную машину, дачу, современную благоустроенную квартиру. Про махаллу свою родную забыл. Ни свадеб, ни похорон, ни других празднеств уже не знает, дорос он чуть ли не до министра.

Но прошло время, и прялка судьбы завертелась в обратную сторону. Так бывает на многолюдных застольях и празднествах: сначала те, кто истинного своего места не знает, стараются пробраться на самое почетное место, но их постепенно теснят-теснят, и, глядишь, они уже лепятся с краешку, а те, кто сначала на неприметном месте сидел, оказываются во главе стола. Так и Алим-тура, которого прямо-таки распирало от спеси и самомнения, стал ступенька за ступенькой съезжать по служебной лестнице, в то время как простой заводской рабочий Абдура-сул ступень за ступенью стал подниматься вверх.

Сначала он сделался директором завода. А когда Алима-туру, высокомерно полагавшего, что еще не родился на свете человек, который мог бы его заменить, из его высокого и мягкого кресла вежливо попросили, то кресло это занял Абдурасул, давно уже обративший на себя внимание чувством справедливости, трудолюбием и глубоким знанием дела. Алим-тура устроился в какую-то городскую организацию, но и оттуда его уже менее вежливо попросили, поскольку обвинен он был в бытовом разложении. Абдурасула выбрали депутатом, а Алим-тура осел в райкомхозе.

Считавший общение с жителями махаллы ниже своего достоинства, наслаждавшийся жизнью в роскошной даче, Алим-тура после серьезных жизненных передряг, опозоренный и обесчещенный, снова поселился в ветхом домишке, где жили все его деды и прадеды. Гнушавшийся раньше повседневной жизнью махаллы, избегавший всяких похорон да поминок, пренебрегавший установившимися в махалле традициями, обычаями и обрядами, он теперь стал завзятым активистом-общественником, на любом собрании старался выступить первым. А жители махаллы — то ли уже в привычку вошло, которая, как известно, вторая натура, то ли явно насмешничая, — по-прежнему продолжали звать его Алим-тура, Алим-барин.

Помни, что самый прочный кирпич может разьесть горстка соли.

Помни, что самый драгоценный ковер крохотная моль превращает в труху.

Помни, как бы ни был крепок человек, как бы высоко он ни поднялся, его губят тщеславие и зазнайство.

В детстве отец часто мне повторял:

«Алчность моя — беда моя». Когда, уже будучи взрослым, я вспоминал это присловье и задумывался над ним, почему-то перед мысленным взором вставали два моих знакомых учителя, с их разными судьбами.

Один из них, Акил Шарафуддинов, личность благородная и светлая. Сейчас он на пенсии, Герой Социалистического Труда.

Второго звали Салих-байвачча. Одно время он несколько лет учительствовал в одной школе с Акилханом-ака. Зарплату они получали одинаковую, но известно, какая в школе зарплата.

Разница между двумя учителями состояла в том, что один думал о своей работе, а другой о своей зарплате. Захотелось Салиху иметь побольше денег, пошел он работать в торговую сеть, а когда появились лишние деньги, ударился в разгул, в беспорядочное пьянство. До того догулялся, что не углядел, как горько шутили знакомые, когда у него вместо четырех ребятишек оказалось восьмеро. Как-то он пришел домой трезвее обычного, увидел за столом целый выводок ребятишек, половину из которых и в лицо-то он не узнал, и кричит жене: «Эй, жена! Чьи это у нас пострелята — полон стол?»

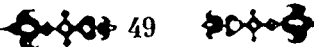
Постепенно прогнали Салиха отовсюду, и разделил он участь Алима-туры.

Я знаю, мама, с первого же дня
Ты слез горячих пролила немало,
Ты не спала, молилась за меня,
Удачи, счастья, славы мне желала.

Я рос и прибавлял тебе забот,
Я взрослым стал, и ты молила, плача:
«Сыночек, пусть судьба тебя спасет,
Пусть за тобою вслед идет удача».

И в дни, когда успех мой был далек,
Когда писать стихи я лишь учился,
Молилась мать: «Дай бог, чтоб ты, сынок,
Не возгордился и с пути не сбился».

Я понимал ее боязнь и грусть.
Я не для славы тщился дни и ночи



Стихи писать, а слава, думал, пусть
Со мною обойдется как захочет.

Чиста молитва наших матерей.
Они нам не желают горькой доли
И все же легкой славы сыновей,
Чем неудачи их, боятся боле.

И ты, судьба, наш путь не золоти,
Ведь матери в своей тревоге правы.
Не страшно славы нам не обрести,
Страшнее во сто крат сойти с пути
И возгордиться вдруг, достигнув славы*.

Отец учил меня, выбирая профессию, одновременно выбирать и друзей.

— Не меняющий своего слова враг, — говаривал он, — предпочтительнее неверного своему слову друга. Смысл этого наставления в том, что если враг открыто выразит свою враждебность, то ты будешь предусмотрительно держать руку на рукоятке ножа, висящего у тебя на поясе. Заранее обдумаешь, как с этим врагом надо бороться, примешь меры к тому, чтобы предупредить его внезапное нападение. Неверный же своему слову друг быстрее навредит тебе, скорее может привести тебя к гибели.

Один человек жаловался:

— Собрался я в далекий путь и, поверив слову своего друга, не запасаю для путешествия едой и питьем, всем, что может пригодиться в дороге. Хвастливый друг мой тоже вышел в путь налегке. Мы чуть с голоду и от жажды не умерли...

Другой вторил ему:

— С одним из моих друзей решили мы ночью отправиться в путь. Той же ночью я был у места, которое назначил мне этот друг. Однако самого его там не оказалось. Конечно, он не собирался намеренно навредить мне, просто не сдержал данного слова. Однако этим самым он обрек меня на одиночество в незнакомых местах. Не ставь меня друг, сам бы, один, да еще ночью, ни за что туда не пошел бы.

Лучше откровенно обругать человека, нежели притворно его хвалить. Прежде чем помириться с другом, с

* Это стихотворение дано в переводе Наума Гребнева.

которым ты рассорился и подрался, припомни хорошенько, из-за чего у вас вспыхнула ссора и драка!

Наверное, отцу немало довелось повидать в жизни, потому он так настойчиво внушал мне необходимость быть скромным, честным и правдивым, не бросать слов на ветер, не лицемерить и не двоедушничать, не суетиться, хорошо обдумывать каждое слово, прежде чем его высказать.

Стараться предугадать, насколько полезным может быть твой поступок или какой непоправимый вред может он принести, короче говоря, заранее различать полезное и вредное.

Конечно, я в то время не мог еще как следует вникнуть в глубокий смысл этих отцовских наставлений. Все, что я говорил, казалось мне таким разумным, все, что я делал — таким значительным, совершенным. Отец быстро разгадал это и не раз говорил:

— Свои поступки не суди только сам, прислушивайся, что говорят о тебе другие люди.

Но юность самонадеянна! Помнится, этот совет отца не запал мне глубоко в душу. Мало ли что говорят другие, на всех не угодишь. Да и правильно считается, на вкус и цвет товарища нет. Правильно говорят у нас в народе, что для скряги лишь золотой червонец — аллах, лишь плов — пророк. Или возьмите обозленного, желчного человека: каждый улыбающийся и смеющийся кажется ему отвратительным и вызывает еще большее озлобление. Веселый же, удачливый человек готов шутить даже на похоронах.

Да, у каждого свой взгляд на вещи. У пьяницы спросили, что самое драгоценное ночью, когда проснешься. «Ковшик холодной воды, — ответил пьяница, — а то во рту пересохло». А юноша в расцвете сил ответил на тот же вопрос: «Возлюбленная рядом с тобой».

Отец, должно быть, чувствовал и понимал все мои колебания, всю неустойчивость моих мыслей и взглядов, поэтому часто советовал:

— Считаю дурным то, что считают дурным все другие люди, а хорошим то, что считает хорошим большинство людей. Только так ты научишься различать добро и зло, а научившиеся этому справедливо считаются людьми умными и даже мудрыми. Бери пример с большинства, старайся больше общаться с людьми, учись у людей, а короче говоря — у народа.

А иногда, уличив меня в болтливости и суесловии, отец язвительно замечал:

— Постыдился бы! А еще собираешься стать поэтом.

Очень он не хотел, чтобы я стал поэтом.

Тут мне слышится возможный вопрос, полный недоумения: за что мой отец не любил поэтов? Ведь для всех это мера прекрасного и возвышенного. Например, начнет человек говорить с чувством, складно, выразительно, о нем тут же заметят: «Вы посмотрите, как он умеет подбирать слова! Настоящий поэт!..» О детях с тонкой, впечатлительной натурой родители говорят обычно с радостной надеждой: «Похоже, он станет поэтом...» Отчего же отец противился литературным моим наклонностям? Во все не потому, что не любил поэзию вообще и не знал литературу. Напротив, он был весьма и весьма начитанным человеком, особенно хорошо знал классиков, которых не просто читал, но умел чувствовать глубоко и тонко. Не хотел же он, чтобы я стал поэтом, душевно страдал из-за этого только от горячей отцовской любви! Позже он так объяснил мне свои сомнения и тревоги:

— Узбекская поэзия обладает богатым тысячелетним наследием. Узбекский народ читал и читает произведения таких великих поэтов и мыслителей, как Навои, Бабур, Лютфи. А те, кто не читал, все равно знакомы с ними через песни, ставшие поистине народными. Одним словом, все, что нужно сказать человеку о его человеческом назначении, уже сказано хотя бы тем же Саади в «Гюлистане». И вот, сын мой, когда перед тобою высятся такие поднебесные вершины поэзии, когда столько прекрасных и мудрых слов уже сказано до тебя великими поэтами, что ты сможешь сказать сверх сказанного ими, новее и мудрее! Не обрекаешь ли ты себя на муки, не взваливаешь ли на себя ношу, которая может оказаться не по плечу?..

Помимо письменной литературы, народ наш знает сотни замечательных дастанов — устных поэм. Их можно услышать на каждой свадьбе, на каждом многолюдном празднестве. Слух народа воспитан и отточен до совершенства на этих дастанах, на тысячах пословиц и поговорок, притч и присловий. Помимо этого, славен наш народ своими островами, людьми изумительного ума и находчивости. Они могут вложить бездну смысла, юмора и поэзии в одно словечко, в одно меткое выражение и

дать молниеносный ответ на него. Что скажешь нового и оригинального этому народу ты со своими километровыми стихами? Придется ли ему по душе и по вкусу твои стихи? Не случайно ведь в нашей литературе рядом с рубаи — четверостишиями — существуют и двустишия.

Конечно, не в каждой из этих своих критических мыслей, не во всех опасениях отец был до конца прав, но все они были порождены искренней и душевной заботой о моем будущем, о том, чтобы я как можно раньше осознал трудность и ответственность пути, к которому себя готовил. Так что же мне оставалось делать? Отречься от стихов?

Слова отца заставили меня серьезно задуматься. Некоторое время я вообще находился в бездейтельном состоянии, в растерянности и нерешительности. Я не в силах был принять окончательное решение: продолжать ли писать стихи, или навсегда оставить это занятие. Однако мое увлечение заметил наш школьный преподаватель литературы, заметил и одобрил, открыв тем самым мне путь в поэзию. Ему, этому учителю моему, я и обязан всем. Он навсегда избавил меня от противоречий, нерешительности, двумя словами одобрения и внимания разрубил мучивший меня так долго гордиев узел сомнений. Он же приоткрыл мне первые секреты поэзии, объяснил, как надо писать, чтобы не походить ни на кого из твоих предшественников, а тем более не повторять их.

А вообще-то ничего в жизни не повторяется. Так же как сегодняшний день не походит на вчерашний и не повторяет его, так и сегодняшний человек мыслит и чувствует иначе, нежели его далекий предок. И мечтает он по-другому и о другом. В те времена люди освещали свои жилища масляными светильниками, свечами, пахали землю омычами*, а теперь свет нам дают ГЭС, землю пахут мощные тракторы. Жизни, которую изобразили в своих произведениях Навои, Толстой, Чехов, слов, которые они сказали, мы уже не встретим в книгах Айбека и Гафура Гуляма. Значит, и стихи, которые ты напишешь о сегодняшней жизни, не будут — чего так страшился твой отец — походить ни на стихи Навои, ни на стихи Мукими. Художник должен писать о своем времени, о своей жизни.

* Вид сохи.

Так говорил мне наш учитель литературы, и уже на другой день я написал и показал ему стихотворение о Чирчикской ГЭС.

Эй, Чирчик, твои волны как горы круты,
Широко расплеснувшись, в небо стремишься ты.
Но, бурля, низвергаясь с большой высоты,
В электроэнергию превращаешься ты.

Прочитал учитель стихотворение и похвалил его. За то похвалил, что оно непохоже на стихи Навои. Я обрадовался.

— Но... — добавил учитель, — есть в нем и маленький недостаток — оно зато и на стихотворение не совсем похоже!

Понять мое состояние и представить мой удрученный вид нетрудно.

Учитель же, будто ничего этого не замечая, спокойно стал объяснять мне этот «маленький недостаток».

— Для подлинного стихотворения, — сказал он, — недостаточно, чтобы оно было современным. В стихотворении должны быть мысли, чувства, людская боль. Для этого ты должен хорошо знать время, в которое живешь, и людей, которые тебя окружают. Необязательно быть хлопкоробом или рабочим, надо научиться чувствовать и понимать, что они любят и что ненавидят, самому проникнуться и этой любовью, и этой ненавистью. Без постижения всего этого невозможно создать произведение, которое дошло бы до сердца каждого, взволновало его, стало частицей его духовной жизни, новой ступенью обретения нравственного опыта.

...Кажется, мой рассказ произвел впечатление на Адыл-джана, потому что, кивнув в сторону почтенного садовода, он сказал:

— Вот он простой садовод. Трудится так же, как и все вокруг. А вот так ли о жизни он размышляет, как окружающие? Нет ли у него своей собственной жизненной философии? О его профессии мы куда как хорошо осведомлены, а вот так ли хорошо мы знаем его внутренний мир? А ведь без этого литературного героя не создашь...

— Так уж и не создашь! В каждом колхозе есть знаменитые, прославленные хлопкоробы, которые собирают с каждого гектара 50—60 центнеров, подлинные герои жиз-

ни и труда. Разве сами они не готовые уже герои для очерка, например?

— Не спорю, они настоящие герои. Действительно, получают 50—60 центнеров. Только так ли уж интересно об этом писать?

— Как так?

— А так. Возьмем хотя бы Отелло. Выдающийся полководец. Но история знала немало и других полководцев. И все-таки Шекспир сделал героем своей трагедии именно его. Почему? Да, перед Отелло стояли задачи большой государственной важности. Но не они сделали Отелло тем Отелло, которого знают сегодня все, а нечто менее государственное, обыденное, даже заурядное, что было связано для него с личной жизнью, с его любовью к Дездемоне. Значит, дело не в профессии. Как любил повторять мой отец: «Нет плохих и хороших профессий, есть плохие и хорошие люди». И нам следует говорить прежде всего о самих людях, об их отношении к профессии и к жизни. Чтобы наши произведения о хлопкоробах не были скучными, уныло-однообразными, как две капли воды похожими друг на друга, мы должны в душе труженика услышать то, что он сам не сможет, не сумеет рассказать и как следует выразить.

В незапамятные времена один поэт взял в руки домбру и посреди большой площадки, на которой только что отшумели стремительные конные состязания, стал исполнять свой дастан. Восхищенные слушатели воздали должное сказителю: кто подарил ему роскошный халат, кто самого лучшего, чистокровного скакуна. Но тут из толпы выступил сухощавый человек и заявил:

— Люди, все события, о которых повествуется в этом дастане, я пережил сам, все мудрые слова, которые так поразили вас, поэт услышал от меня. Потому дастан этот принадлежит не ему, а мне. И подарками одаривать вы должны меня, а не этого поэта.

Поднялся невообразимый шум и гвалт. Но тут кто-то из слушателей, чтобы успокоить разбушевавшиеся страсти, предложил:

— Если этот человек говорил правду, пусть он займет место поэта и повторит то, что мы уже слышали.

Сухощавый так и поступил. Однако, хотя рассказ его и походил на дастан сказителя, он не вызвал у присутствующих ни одного одобрительного возгласа и хлопка.

Претендент на поэтические лавры сразу почувствовал это и заявил:

— Здесь так много народу, что я просто растерялся, не мог как следует собраться с мыслями. Поэт же спокойно писал свой дастан дома, в тиши уединения...

— Ладно, даем тебе срок, — снисходительно загудела толпа, — запиши и ты дома свой рассказ, а если неграмотен, то пусть с твоих слов их запишет кто-нибудь другой.

Минул назначенный срок, и снова все собрались на этой же площади. Сухощавый начал читать. На что у поэта ушел час-другой, он рассказывал с утра и до самого вечера.

— Покороче давай, к самой сути пора переходить, — слышались со всех сторон нетерпеливые и насмешливые восклицания.

Некоторые начали даже зевать и дремать со скуки, а самые неугомонные продолжали язвить:

— Чтение твое что неборонованная пашня!..

— Написанное тобою что неотесанное бревно...

— Драгоценный камень, не отшлифованный руками ювелира, ничем от обыкновенной стекляшки не отличается: ни в перстень его не вправишь, ни в ожерелье...

В общем, получилось по известной народной поговорке: видевшего невидевший победил. Хоть и пережил сам тот сухощавый все, о чем в дастане рассказывалось, но народ не ему, а поэту больше поверил.

— Да, все дело в умении убедить!

— Каждое слово героя должно быть логически обосновано поэтом.

И вот, когда речь зашла о логичности, вспомнился мне один случай в нашей махалле.

Впрочем, все по порядку.

Я нисколько не ошибусь, если скажу, что весь мир я начал познавать через нашу махаллу. И в самом деле, махалла для меня была как бы средоточием всего белого света. Ведь уже по одной горсти зерна обо всем будущем урожае судить можно. Тому, кто собирает орехи покупать, необязательно колоть все, что в мешке, достаточно один-другой расколоть и попробовать, чтобы обо всех остальных иметь представление.

Здесь, в своей махалле, я услышал и самые добрые, нежные слова, и самые злые и скверные ругательства,

клики радости и вопли, рыдания и тягостное молчание у гроба, накрытого погребальным покрывалом, ликующие звуки карнаев на шумных свадьбах и берущие за душу мелодии, проникновенную сердечность народных обрядовых песен.

Когда конные басмачи на скаку застрелили единственного сына нашей соседки Хурбиби, она зарыдала, запричитала, и сама как бы убитая той же пулей.

Пусть на небе месяц не заходит,
Пусть на сабле кровь не высыхает,
Пусть убийца подлый Имамджана
Радости вовеки не узнает.

Причитания эти и по сей день хранит моя память.

Здесь же, в родной махалле, впервые в жизни увидел я кулачные бои джигитов, таких могучих, что на каждом плече у них по человеку усядется.

Помню их в яктаках, то есть в летних, легких халатах нараспашку, на груди играют железные мускулы. С замиранием сердца я смотрел, как они хватали друг друга мертвой хваткой, бились яростно, остервенело, пуская в ход не только кулаки, но и головы.

Да, много разного увидел и услышал я в нашей крохотной, микроскопической по сравнению с остальным миром махалле. Но, как говорится на Востоке: вóробей маленький, но у него все есть. То есть имеются в виду все части организма, все органы. Так и в нашей махалле было всего понемногу, что есть на свете: и горе, и радость, и распри, и мир, и любовь...

Люди, рядом с которыми я жил и которых каждый день видел, тоже все были разные, различались и по одежде, и по лицам, и по делам. У каждого было свое занятие, свое ремесло, которое накладывало отпечаток и на внешний облик, и на манеру одеваться, и на поведение, привычки, нравы. Разномастное это было племя: от юродивых до страстных любителей перепелиных боев и других азартных игр, от популярных по всей округе табиб-знахарей, музыкантов, играющих на сурнае, курильщиков опиума, кузнецов до уважаемых домла *, от барыш-

* Домла (домулла) — учитель мусульманской духовной школы; вообще учитель, духовное лицо; употребляется также как почтительное обращение к человеку в знак уважения к его знаниям.

ников до мудрого знатного истолкователя законов Израилбека-ака.

Израилбека называли еще нашим махаллинским Шерлоком Холмсом. Случись в каком-нибудь дворе кража, Израилбек-ака немедленно приступает к расследованию, не располагая никакими доказательствами и свидетельствами. И раскрывает преступление, заставляя преступника самого признаться в содеянном, обезоружив его неопровержимыми уликами.

Или взять другое. Духовные лица в один голос утверждают, что троекратный талак означает по шариату* развод окончательный и непоправимый. Однако Израилбек и здесь умудряется найти выход, помирить разведенных супругов, да так, что ни одному домле, не говоря уже о прочем махаллинском люде, и в голову не придет возражать ему.

А между тем Израилбек был не убежденный сединами старец, а средних лет мужчина, высокий и стройный, со щегольскими усами, сдержанный, немногословный. Не знаю, то ли от этого необычного, несколько даже загадочного облика его, но я до сих пор помню, как люди терялись, впадали в непонятное какое-то оцепенение от одного его взгляда.

Однажды в семье мясника с нашей улицы случилось какое-то происшествие, причем настолько неожиданное и так срочно позвали мясника домой, что тот даже лавку свою не успел закрыть, бросил все — и разделанные туши на крючьях, и шкатулку с деньгами — и побежал. Успел только крикнуть соседу-чайханцику: присмотри, дескать. Вернулся мясник, а денег нет. Чайханщик успел их прикарманить. Мясник к чайханцику: как же так? А тот: «Не брал я твоих денег! Не возводи, — кричит, — на меня поклеп! Где у тебя доказательства, где свидетели?» Вспыхнул между ними скандал. Один кричит: «Не брал я никаких денег, все это клевета!» Другой наседает: «Никто, кроме тебя, взять не мог, да и вообще ты на руку нечист...»

* Ш а р и а т — свод мусульманских религиозных, уголовных и гражданских законов, основанных на Коране.

Понабежали, как водится, зеваки. Оказался здесь, конечно, и Израилбек. Слушал он эту перебранку, слушал, да и обращается к чайханщику:

— Если ты не брал мясниковых денег, вынеси сейчас все свои наличные деньги и покажи нам. Тогда и выяснится: брал ты или не брал.

Чайханщик покорно — с Израилбеком не поспоришь! — вынес все свои деньги. Глянул Израилбек на них, поворошил и говорит:

— Лучше по-хорошему признай свою вину, а то придется вымазать тебе лицо сажей, посадить на ишака задом наперед и возить по махалле всему миру на осмеяние...

— Нет у вас ни свидетелей, ни доказательств, — продолжал упорствовать чайханщик.

Тогда Израилбек сгреб все монеты, вынесенные чайханщиком, высыпал их в глиняную миску и залил водой. А потом, обратившись к собравшимся, твердо заявил:

— Все эти монеты мясниковы! Мажьте чайханщика сажей, сажайте задом наперед на осла и возите по махалле.

Ни одного из толпы не осталось, кто бы в эту миску с водой не заглянул и не пожал потом недоуменно плечами, не подвлял на Израилбека изумленных глаз. Денег в миске не было видно!

— Монет не видно потому, — спокойно пояснил Израилбек-ака, — что на поверхности воды жиру на целый плов. Так вот, скажите теперь, откуда у чайханщика на руках жир возьмется? С утра до ночи руки его ничего, кроме воды, не знают. А это значит, что монеты побывали в руках мясника, который разделяет жирное мясо.

Чайханщик оцепенел от суеверного ужаса. Не поднимая глаз на людей, а особенно на Израилбека, он еле выдавил из себя:

— Половина денег моя, а половина мясникова...

А то еще Раим-пьяница, чем-то выведенный из себя, до того рассвирепел, что объявил жене троекратный «таллак», развод, после которого примирение по шариату не допускается ни при каких условиях. Когда горячка прошла, спохватился, кинулся к домулле, а тот только руками разводит: сам-де знаешь, что в таких случаях ша-

риат гласит, такова, значит, была воля аллаха... Так несчастным и пришлось развестись...

Однако слухи о происшедшем дошли до Исраилбека. Призвал он к себе незадачливых супругов и попросил рассказать без утайки, из-за чего сыр-бор разгорелся. Вскоре выяснилась причина злополучной ссоры. Оказывается, жена постоянно вылизывала языком котел. Особенно она любила это делать, когда в котле варились бобы с рисом. Видя все это, Раим однажды прикрикнул на жену:

— Эй, слышишь, ты эту привычку брось! Сама опозоришься и меня на всю махаллу прославишь. Вдруг кто-нибудь увидит тебя за этим занятием. Вот, скажут, дожил, одну жену досыта накормить не в состоянии!.. Если еще раз увижу, пеняй на себя!

Но недаром говорится в народе: кто повадится, тот не отвадится. И вот Раим снова застал жену за вылизыванием котла. Тогда-то в гневе и сорвалось у него.

— Уходи! Троекратный тебе «талак»!

Вот и все происшествие. Бывшие муж и жена в один голос подтвердили это. Однако Исраилбек зачем-то попросил женщину показать, как она лизала котел. Та подошла к воображаемому котлу, провела по его дну полусогнутым пальцем, а потом «слизала» с пальца воображаемые остатки машкичири*.

— Вот что я вам посоветую, — внимательно понаблюдав за женщиной, заявил Исраилбек, — отныне, не подумав, словами не разбрасывайтесь. Идите и живите себе на здоровье. Никакого повода здесь для троекратного «талака» нет. Считайте, что развода и не было...

Удивленные супруги не двигались с места. Они ничего не могли понять и боялись поверить собственному счастью.

Пришлось Исраилбеку разъяснить им суть дела.

— Муж пригрозил жене, что разведется с нею, если она не оставит дурной привычки вылизывать котел. Троекратный «талак» действительно имел бы необратимую силу, если бы она и в самом деле котел вылизывала языком. Но она ведь облизывала только пальцы. Значит, неправильно был произнесен троекратный «талак», и потому он недействителен.

* М а ш к и ч и р и — крутая каша из мелких зеленоватых бобов и риса.

Вот и сегодня, случись в нашей махалле какая-нибудь ссора или возникни неразрешимый спор, завсегдатаи чайханы обязательно воскликнут:

— Как жаль, что нет Исраилбека-ака!

В этом восклицании слышится не только искреннее сожаление, но и глубокое почтение, уважение к человеку, который был и пронзительным умом, и чистой совестью, и, если надо, карающей десницей махаллы.

Нет, далеко не случайно сожалеют махаллинцы о том, что нет больше среди них умного и находчивого Исраилбека. Что уж там греха таить, много ли найдется сегодня работников, которые так же ревностно, хладнокровно и умно вели бы дело по расследованию преступлений и разоблачению преступников! А ведь без глубокого постижения причин, породивших преступников, многого не добьешься.

И вот, вспоминая о давно отшумевших в нашей махалле событиях, о живших некогда людях, я невольно задумался об одном присущем мне недостатке. Иногда, задумав очередное произведение, мы готовы скакать за тридевять земель в поисках героев. Мы собираемся глубоко познавать внутренний, духовный мир в общем-то незнакомых нам людей, беседуя с ними и обо всем расспрашивая. А вот тех, кого мы видим каждый день, кого и без бесед знаем до тонкости, мы почему-то забываем. Нам кажется, что наши друзья и приятели, родные и близкие не могут быть литературными героями, что их жизнь и судьба менее поучительны, нежели жизнь людей, нам пока незнакомых и неизвестных. На самом же деле это происходит потому, что мы весьма и весьма заблуждаемся насчет своих знакомых, друзей и близких. Нам только кажется, что мы их хорошо знаем. Кажется же нам это потому, что мы ни о ком из них по-настоящему не задумывались, не вглядывались в них как писатели. Редко ли бывает так, что мы услышим вдруг: такой-то наш близкий человек неожиданно поступил так-то. «Гляди-ка, — недоуменно разводим мы руками, — вот он, оказывается, на что способен!..» И мы, казалось бы, так хорошо знавшие этого друга или родственника, только смущенно опускаем очи долу и не можем сказать ни слова ни в осуждение его, ни в защиту. Потому что мы этого человека не знаем и не знали. Известие о нем поистине свалилось как снег на голову, мы удивлены, изумле-

ны, будто сейчас вот только познакомились с этим человеком. Знать-то мы его, конечно, знали, но все же не привлекал он нашего пристального внимания. Мы довольствовались тем, что лежит на поверхности, а не таится у него в глубинах души, в глубине сердца.

Недаром говорят: «Вода, текущая перед тобой, ничего не стоит». Вот и мы, собравшись женить сына или выдать замуж дочь, ищем невесту и жениха не среди своих знакомых и близких, а обязательно где-нибудь на стороне, среди людей, о которых мы порою и слыхом не слыживали.

Жил в нашей махалле восьмидесятилетний почтенный старик родом из Хорезма. Ни одеждой, ни обликом своим, ничем он не отличался от других своих сверстников, таких же седобородых и почтенных. Ни званий, ни познаний особых у него не было. После ухода на пенсию по принципу: лучше без пользы трудиться, чем без дела сидеть, стал он записывать свои воспоминания, все, что довелось повидать некогда в родном Хорезме, услышать в беседах, записывал он различные наблюдения свои и размышления, вспоминал о поэтах, деятелях искусства, с которыми на долгом жизненном пути сводила его судьба. Чувствуя, что доживает последние дни, собрал он своих детей и внуков и говорит им:

— Дети мои, вы часто расспрашивали меня: каким был тот или иной человек, как жил, что думал. Не знаю, что у меня получилось, но на досуге я написал вот кое-что. Почитайте, если сочтете нужным...

И вот воспоминаний этого простого, ничем не примечательного человека хватило двум его сыновьям, чтобы написать и успешно защитить докторские диссертации.

О них, конечно, не скажешь, как у узбеков говорят: вот, дескать, нашлись повара на готовый плов. Это были припасы для плова — всего лишь припасы, их сырыми есть не станешь. Сыновья его, разумеется, правильно оценили исходный, как говорится, исторический материал, посмотрели на него с точки зрения общего блага, немало вложили труда, пролили поту, чтобы довести его до нужной идейной стройности и научного совершенства.

Однажды позвонили мне из издательства и попросили написать хоть самое коротенькое предисловие к книжке молодого талантливой поэта. Я согласился. Ибо писать

предисловие к стихам этого действительно талантливо-го поэта было одно удовольствие, душевная отрада. Ибо в предисловии этом я мог спокойно и свободно высказать все, что я думал за последнее время о хороших стихах вообще. Да к тому же и поэт на редкость и добрую зависть талантлив. Однако когда я дошел до места, где надо хвалить автора, родилась у меня одна мысль. Талантлив он, конечно, но... еще так молод! А не окажу ли я ему неумеренными комплиментами своими медвежью услугу, не получится ли в конце концов, как у узбеков говорят, так, что, собравшись брови подводить, глаз выколол.

Излишняя вода при поливе хлопчатника урожая не прибавляет, хлопчатник сыреет и чахнет от переизбытка влаги. Под стать этому несвоевременная и неумеренная похвала. Но возьмите — молодые артисты. Не сбивают же их с пути афиши, на которых чуть ли не каждый день аршинными буквами печатают и выставляют на всеобщее обозрение их имена? Почему же мы должны бояться молвить доброе слово о молодом поэте, который жизнь подчас понимает тоньше и глубже, чем многие старшие поэты? Почему одолевают нас сомнения, когда мы заносим над чистым листом бумаги перо, чтобы похвалить поэта, если он действительно заслуживает похвалы? Неужели молодые поэты наши так легкомысленны, что им может вскружить голову похвала?!

Среди этих размышлений и вспомнились мне слова Хайрулло-махсума, сказанные им в связи с одним событием в нашей махалле.

Несмотря на столь почтительную приставку к своему имени, занимался он в основном барышничеством. Зато уж в этом деле, в том, чтобы отобрать породистого, благородных кровей коня, не было ему равных по всей округе. Всю свою жизнь он занимался тем, что разъезжал по базарам и ярмаркам Дальнего Востока, Туркмении, скупал там годных для скачек и улака * коней, а затем их перепродавал. Человеку этому поручали даже от имени правительства отбирать коней для кавалерии. Надо ли говорить, что и сам он на улицу на первой попавшейся лошади не выезжал. И вот, когда он гарцевал на чистокровном скакуне, собирались целые толпы, чтобы и на коня

* Улак — конноспортивное состязание, на котором участники вырывают друг у друга козляную тушу, чтобы донести ее до означенного места.

его с завистью посмотреть, и на сбрую, да и на одеяние всадника. Седло в затейливой резьбе и орнаменте, попо-на бархатная. А конь по-осиному туго перетянут подиругой, шелковисто отблескивает мускулистый круп. Хайрулло-махсум не был профессиональным наездником, но в различных конных состязаниях принимал участие с большой охотой. А уж в улаке творил невероятное: мог, как гласит щедрая на преувеличения молва, не только отнять козлицную тушу у самого лихого и сильного джигита, но и его самого вместе с конем сложить вдвое, зажать под коленом* и мчать во весь опор. Лошадей же, которые уже не годились для улака, он приучал ходить в упряжи. Я до сих пор помню тот возбужденный шум и гвалт, когда, взяв норовистого скакуна, Хайрулло-махсум впрягал его в арбу и терпеливо, настойчиво приучал к новой работе. Занимались этим несколько наиболее искусных и отважных арбакешей — возниц, ибо не таким легким и безопасным делом было приучать к упряжи коней, привыкших к вольной воле и лихим скачкам. Обычно это происходило так. Два человека держали с двух сторон коня за поводья, а третий вскакивал в седло. Конь, которому предварительно завязывали глаза полотенцем, остервенело рвал уздечку, а едва почувствовав оглобли, вообще приходил в бешенство, взвивался на дыбы, с маху бросался вперед, потом неожиданно осаживал и пятился назад, с храпом метался из стороны в сторону, пытаясь сбросить седока, опрокинуть арбу, вырваться из этого унижительного плена, бежать от позора и бесчестья. Порою от этих бешеных рывков арба ступицами колес задевала то за стены домов узкой улочки, то за стволы тополей и кленов, что росли вдоль арыков. В такие моменты толпы зевак, особенно женщины и ребятишки, стремглав бросались в первые попавшиеся ворота. Улица пустела, и над нею раздавались лишь возбужденные крики отважных арбакешей. Некоторые из них, случалось, получали тяжелые увечья.

Ворота двора, где жил Хайрулло-махсум, были достаточно широкими, легко пропускали арбу. Они были также украшены затейливой резьбой, блестящими медными кольцами-ручками. Мы, махаллинская детвора, почти все

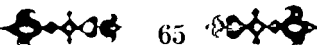
* Прием в улаке, когда козлицную тушу зажимают под коленом, чтобы противнику было труднее вырвать ее.

свое время проводили вокруг большого хауза, напротив дома Хайрулло-махсума. Здесь-то мы и нагляделись на всевозможных коней, наслушались шумных скандалов. Весело было и зимой: мы катались по замерзшей глади хауза на самодельных санках и деревянных коньках, подбитых понизу проволокой. Умудрялись даже играть на льду в свои неизменные альчики.

В особенно суровые зимы хаузы промерзали на полметра. Вот тогда и появлялись с топорами и баграми заготовители льда. Они нарубали его в хаузах большими глыбами, грузили на арбы и отвозили в сторону Ухчи и Бешагача * в специальные подвалы-ледники, где лед хранился до лета, когда спрос на него особенно высок. Надо ли говорить, как это все расстраивало ребятишек. Ведь пока замерзнут хаузы, нам приходилось играть в альчики на тротуарах, выслушивая немало ругани от жильцов и прохожих, а то и получая от них подзатыльники. С приходом весны мы пропадали на берегу хауза с удочками, рыбы в нем водилось немало. Самые отважные и ловкие из мальчишек ловили ее даже руками в омуте под лопастями колеса стоявшей здесь некогда мельницы. А как только поспеет шелковица на деревьях вокруг хауза, ребятишки как воробьи облепят все деревья. Про лето и говорить нечего. Летом мы не вылезали из арыка. Теперь эти благодатные хаузы только и остались что в нашей памяти. Их не то что в нашей махалле, по всему городу засыпали, сровняли с землей. Теперь детвора, несмотря на строжайшие запреты, плещется в бассейнах вокруг городских фонтанов, а то и вовсе убегают ребятишки за город на озера и водохранилища, или, как их величаво называют по-современному, моря. Почти не осталось в Ташкенте полноводных некогда арыков и каналов. А ведь бывали времена, лошадей в них купали, и лошадям этим, по-мальчишечьи говоря, было «с ручками»! Вились, плелись они по городу, как сорок косичек узбекской девчужки. В тех, что поцадили люди и время, даже захудалой рыбешки теперь не выловишь. Да что там рыба, ни одна лягушка голоса не подаст...

Детство!.. Озорство и беззаботность. Накупавшись, не смотря на немислимый летний зной, до икоты, мы суши-

* Район старого Ташкента.



ли свои трусики, зарываясь в горячую пыль, благо на улицах ее было — зарывайся хоть с головой...

В один из таких дней у дома Хайрулло-махсума разразился шумный скандал. Зло и возбужденно крича, целая группа наездников вырывала друг у друга уздечки испуганно всхрапывающих коней. А уж мы, ребята, до того перепугались, что до сих пор помню — побросали в пыль свои недосушенные трусики и стремяглав разлетелись кто куда.

Причина скандала стала известна позже.

Начался он после слов Хайрулло-махсума, который сказал одному из своих, по-сегодняшнему говоря, коллег:

— Из тебя не наездник, а тягловый вол скорее получится!

Оказывается, в этот день один из джигитов привел к Хайрулло-махсуму своего коня, чтобы узнать, годится или не годится он для улака.

Хайрулло-махсум осмотрел зубы коня, внимательно заглянул ему в глаза и ответил:

— Глаза у коня ввалившиеся, кобыла, от которой он родился, была молодой, а жеребец старым, да и сам конь не первой молодости, он быстро выбьется из сил. Не годится.

Джигит удивился: откуда Хайрулло-махсуму все это известно?

— Как у человека, так и у животного, — пояснил Хайрулло-махсум, — глаза к старости начинают западать. Запавшие глаза — признак старости.

— Между прочим, Хайрулло-махсум, мы хотели узнать, годен или не годен к улаку не только конь, но и его хозяин.

— Вообще-то конь для улака, может, и подойдет, а вот из тебя наездника не получится. Скорее ты в тягловые волы годишься. Так что ни себя, ни лошадь лучше не утруждай.

Тогда-то и разразился скандал.

Хайрулло-махсум понял, что больно задел самолюбие джигита, и, чтобы смягчить свой приговор и утешить взъярившегося парня, стал терпеливо ему разъяснять:

— Слава наездника неотделима от его коня. А для того чтобы славу эту добыть, надо не на чужого, готового коня садиться, а самому его взрастить, и выхолить, и

объездить. Человеку, не сделавшему всего этого, не постигнувшему норова коня и его привычек, а знающему лишь одно, как в седле восседать да плетью размахивать, недолго загубить и хорошую лошадь.

Хайрулло-махсум часто говорил, что наездничество тоже искусство, которое требует страстной увлеченности и отточенного мастерства, любви к коню, мужества и отваги, которых хватило бы на многих людей.

Надо ли говорить, что эти слова можно полностью отнести и к людям творческого труда. Ведь слава поэта и его почет — в его стихах. Однако если он, добившись кое-чего, станет с прохладцей относиться к своему творчеству, то очень скоро уподобится всаднику без коня или ремесленнику, изломавшему свои инструменты.

И вот, когда по просьбе издательства я писал предисловие к сборнику стихов молодого поэта, я заставлял себя постоянно помнить назидания Хайрулло-махсума.

О слава, восхваленье, похвала,
Ты словно крылья в небо поднимаешь.
Но скольких слабых духом подвела?
Верней меча и пули убиваешь.

Жизнь — это неиссякаемая сокровищница. Но каждый находит в ней не то, что он пожелает, а то, чего достоин. В ней и счастье, в ней и беды, в ней и слава, в ней и бесславие, в ней и честь, в ней и бесчестье. Награждает и карает жизнь невзирая на ранги, занимаемые посты и профессии, не разбирая, где мужчина, где женщина. Побеждают в конечном счете трудолюбие, самоотверженность, бескорыстие, благородство.

Кто б славы не желал и не стремился к ней,
Таких людей, пожалуй, я не знаю.
Но к славе сотни, тысячи путей,
Не ошибись, дорогу выбирая.

Коль цель твоя — любой оставить след
И буквы имени, чтоб их читали люди,
Поверь мне, друг, задачи проще нет:
Плита надгробья — сносу ей не будет.

Вот буквы имени, но толку много ль в нем,
Его потомки смыслом не наполнят.
Что пользы будет в имени твоём,
Когда ничем другим они тебя не вспомнят?

Так проживи, вложивши душу в стих,
Как в океане, растворясь в народе.
Чтоб в имени твоём звучал призыв для них,
К добру и свету, к правде и свободе.

* * *

О чем могут говорить два товарища, глядя в окно вагона, мерно выстукивающего на стыках свою песню? Когда поезда проносятся по мосту над рекою, почему-то особенно пристально всматриваешься в ее волны, спешишь окинуть взглядом все ее берега и притоки, будто именно по этой реке приплывет к тебе что-то давно желанное, заветное, о чем всю жизнь мечтал. А когда проезжаешь между взгорьями, по долинам, непременно думаешь о том, как просторен, как необъятен мир. Увидя, например, старика на осле, за которым трусит осленок, могут друзья говорить о прогрессе XX века, а при виде загорелых колхозниц, собирающих хлопок в сорокаградусную жару, — о работе, труде. Точно так же в течение нескольких дней, когда мы ходили и ездили по городам, селам, полям Андижана, темы наших бесед многократно менялись.

Так, сегодня у нас состоялась незапланированная и нежданная встреча с самодеятельными поэтами Шахрихана. Они читали нам свои стихи, волнуясь, выслушали наши профессиональные приговоры, а уж о бесчисленных вопросах, на которые пришлось нам отвечать, я и не говорю. Внешне эти вопросы могли казаться самыми разнообразными, порою даже неожиданными, но объединяла их одна забота: выйдут ли, мол, из нас настоящие поэты, или зря мы стараемся? Дорогие наши дяденьки поэты, не томите, пожалуйста, не мучайте нас неизвестностью, а скажите прямо и откровенно: да или нет?!

— Эх-хе! Если бы легко было ответить на такой вопрос!.. Так же как никто, глядя на впервые в жизни зацветшее молодое деревце, не сможет наверняка предсказать, сколько из этих цветов осыплется, а сколько получится полновесных плодов, так и самый великий поэт, наверное, затруднился бы ответить на столь сложный и щекотливый вопрос. И мое юное сердце волновали в свое время точно такие же вопросы. Я нашел на них ответы. Только ответы эти пришлось выстрадать! О, как я понимаю сейчас состояние этих робких и окрыленных надеждой юнцов!

Не тот лекарь, говорят у нас в народе, кто лечит, а тот, кто сам переболел. Вот я и поделился со своими собеседниками частью того, чем пришлось самому переболеть.

Улица, на которой я родился и вырос, по-старому называлась Эскиорда — Старая орда (что это была за «орда», выяснить мне так и не удалось). Сейчас это место называется Алмазар — Яблоневый сад. Маленький это в общем-то кварталишко, а сколько через него прошло интересных людей, сколько разных событий здесь отшумело! Знаменитые писатели Айбек и Гафур Гулям тоже жили по соседству с этим кварталом. В детстве и юности Гафур Гулям часто бывал на нашей улице, здесь мы устраивали дружеские вечеринки, вместе веселились на свадьбах и всяческих массовых зрелищах. Он близко знал и всю нашу семью. С особенным уважением и почтением он относился к моему отцу. Сестры его дружили и учились вместе с моими сестрами.

Предвижу возможный упрек: ну знаком ты с Гафуром Гулямом, ну знал он твоего отца, зачем же хвастаться?

Ведь не перевелись еще у нас люди, которые, как только заговоришь при них о ком-нибудь известном, авторитетном, сразу же скажут:

— Ну, этого человека мы хорошо знаем, замечательный человек, самый близкий и дорогой наш друг!..

Бывает, что во время хвастливой тирады сам известный человек появится, и не то что о жите-бытье «близкого и дорогого друга» не расспросит, как у узбеков даже при дальнем знакомстве принято, а и руки ему не подаст. Боже упаси меня от такого позора!

Как-то на одной дружеской вечеринке зашел разговор о моем племяннике. Он был в то время министром. Один то про него скажет, другой другое. Но никто из них не знал, что я ему дядей прихожусь. И вот один из говоривших вдруг заявляет:

— Он очень меня почитает, любую мою просьбу тут же готов исполнить. Да и может ли по-другому быть: ведь, почитай, на моих руках вырос, как-никак племянник мой.

Я ничего на это не сказал. Кто знает, может, у моего племянника и другие дядья есть, о которых я и не знаю. Но не прошло и часа, как в комнату вошел сам племянник. Те, кто и в самом деле был знаком с ним, по на-

шему обыкновению пригласили его на почетное место. А тому, что только сейчас хвастался знакомством с ним, пришлось в удивлении хлопать глазами: кто это, мол, такой пожаловал? Такой молодой, а встречен с таким уважением и почетом. Не выдержав наконец, он наклонился ко мне и потихоньку спросил:

— А кто он, этот человек?

Что мне оставалось делать? Сказал ему:

— Так это же ваш племянник!

О подобном хвастовстве в народе говорят: «Если хвастаться захотел, хвастай в чужом краю, важничать решил, важничай, когда ряды медников на базаре пройдешь».

Дело в том, что в этих рядах такой звон стоит, хоть криком кричи, никто и ухом не поведет. А в чужом краю хвастайся себе на здоровье, все равно никто тебя там не знает. Что ни скажи, всему поверят.

— На свете, сынок, — наставлял меня в свое время отец, — в трех случаях трудно говорить. Во-первых, спрашивать у другого человека, что он о тебе думает и каким он тебя считает. Во-вторых, спрашивать у любившегося человека, любит ли он тебя. В-третьих, самому рассказывать о себе.

Если начнешь слишком откровенно о себе рассказывать, скажут, расхвастался, обвинят в нескромности. Если начнешь осторожненько, осмотрительно изъясняться, скажут, правду о себе пытаешься утаить. Что же в таком случае делать, как поступать?

Если кто тебя обидит словом,
Ты в огне обиды не гори.
Но запомни: жизнь, она сурова,
Сам, сперва подумав, говори.

Назовешь плохого ты достойным,
Люди назовут тебя льстецом.
Скажешь про хорошего плохое,
Люди назовут тебя лжецом.

Будешь говорить про то, что свято,
Иль про то, что грязно говорить, —
Тем и этим, пятым и десятым
Все равно не сможешь угодить.

Ошибешься — люди будут рады.
Не судимым будь, не осуждай.

Угождай не пятым и десятым,
А одной лишь правде угождай!

Теперь об отношениях Гафура Гуляма к моему отцу. В своей статье «Отчет» Гафур Гулям о нем писал: «На всей обширной территории бывшей Сырдарьинской области, от казахстанского города Туркестана до Ташкента со всеми имеющимися здесь кишлаками, среди узбеков был только один оспопрививатель, получивший официальное «свидетельство» от русских. Им был почтенный человек по имени Юсуф-Ходжа Кари-ака. Разъезжая по области то верхом, то на ишаке, передвигаясь то пешком, то в красных вагончиках от разъезда к разъезду, добираясь до самых глухих мест, он делал детям несчастного народа прививки от оспы. Человек этот не брал платы за свои услуги. Подобно Ахмаду Данишу, Мукими, Фуркату, Юсуф-Ходжа Кари-ака был из тех людей, кто цель своей жизни видел в том, чтобы даровать народу свет, если это даже крохотная свечка, зажженная в тяжком мраке невежества и угнетения».

Отец, бывший в близких отношениях с Гафуром Гулямом, обнаружив во мне страсть к бумагомаранью, однажды сказал:

— Я говорил о тебе с Абдугафуром, так что можешь без стеснения показать ему свои стихи, и вообще обращай к нему за советом и помощью.

Я безмерно обрадовался предстоящему знакомству с Гафуром Гулямом, но сразу обратиться к нему не осмеливался. Между тем прошло около двух лет, кое-что из написанного мною стало появляться в газетах. Тогда-то я и отправился к поэту домой, рассуждая примерно так: «Ну, теперь Гафур-ака стихи мои читал и уж наверняка меня похвалит».

Но вышло далеко не так, как я ожидал. Меня будто окатили холодной водой.

Гафур-ака внимательно выслушал все, что я ему прочитал, и, ничего не говоря, поднялся с места. Он направился в конец двора к винограднику и сорвал там кисточку совсем еще незрелого винограда. «Что это он с ним собирается делать? — недоумевал я. — Неужели есть станет?» Но он вернулся ко мне, оторвал от кисточки одну ягоду, положил на нижнюю часть листка с моими стихами и, сказав: «Под незрелыми плодами — недо-

зрелая печать», — раздавил большим пальцем зеленую виноградину на бумажном листе. А рядом с «печатью» расписался большими буквами «Мирза * Абдугафур».

Я опешил от изумления и обиды. И было отчего: ведь я ждал, что он разъяснит мне все слабости и недостатки стихов, подскажет, как их устранить, одним словом, возьмет надо мною поэтическое шефство как опытный учитель и мудрый наставник. Видимо, Гафур-ака почувствовал мое состояние, потому что взглянул на меня полусерьезно, полуиронически и задал неожиданный и совсем уж неуместный, как мне поначалу показалось, вопрос:

— Тебе приходилось когда-нибудь сажать саженцы?

Совершенно не понимая, какое это имеет отношение к стихам, я тем не менее ответил:

— Да, приходилось.

— Если сажал, то должен знать: после того как ямка, в которую деревце установлено, засыпана, ее утрамбовывают кетменем **, или она в крайнем случае утаптывается ногами. Для чего это делается? Да для того, чтобы деревце лучше укоренилось, а значит, и принялось. Если сквозь рыхлый грунт к корням воздух проникнет, он их засушит. Вообще воздух опасная штука, стоит ему, например, проникнуть в мозги, как человек тут же начинает задирать нос.

Конечно, — продолжал он, — в детстве ты и воздушных змеев мастерил: расщеплял камышинки, намазывал их клеем, а потом? Чтобы бумага получше к камышовому каркасу приклеивалась, ты пальцами ее к камышинкам прижимал. Не так ли?

Знаешь ты также и мастеров, изготавливающих тубетейки. После того как они склеют основу будущей тубетейки, чтобы складки у нее были ровнее, они ее кладут под деревянный пресс, верно?

А то есть еще такие легкомысленно-самонадеянные люди, которые мнят себя настолько всезнающими и многоопытными, что с готовностью тараторят по всякому поводу и даже без повода. Их надо урезонивать. Надо говорить им: «Послушай, братец, будь же ты посерьезнее, посолиднее!», хорошо такого пустозвона взять за плечи и

* Мирза — господин, человек, принадлежащий к привилегированному классу, здесь употреблено в ироническом смысле.

** Кетмень — род мотыги с широким лезвием.

прижать немного к грешной земле: дескать, не воспаряй словесами в небесах.

Я молчал, не понимая, какое все это имеет отношение к моим стихам. Но тут меня ждало еще большее удивление:

— Все сказанное принадлежит не мне, — заявил вдруг Гафур-ака. — Не я, к сожалению, додумался до этой мудрости. Я лишь пересказал то, что услышал от твоего отца. «Мулла Адбугафур, — сказал он мне, — возьмите-ка вы в обучение моего сына. Как видите, мясо ваше, кости наши *. А то еще возомнит, что он уже поэт, каких свет не видывал. Отнеситесь повзыскательней к нему. Ведь...» И он привел мне все те примеры, которые я сейчас пересказал тебе.

Не последовать совету старшего считается у нас верхом невоспитанности, — продолжал Гафур Гулям. — Вот я и исполнил волю твоего отца. Поэтому прошу на меня не обижаться, уважаемый Эмчиев **, — закончил он шуткой первый поэтический урок.

Ну а вообще-то выйдет из меня поэт? Каковы стихи, которые я прочитал? Только я было открыл рот, чтобы задать эти извечно волнующие всех начинающих вопросы, как Гафур-ака, будто угадав мое намерение, рассказал один анекдот.

Как-то Насреддин-афанди прямо на улице устроил своему сыну изрядную порку. Прохожие заступились. «Эй, афанди, — воскликнули они, — в чем провинился этот несчастный, что вы таких тумачков ему отвешиваете?» — «Он, — возмущенно пояснил Насреддин, — делает только то, что я ему говорю». — «Так бить-то за что, — еще больше удивились люди, — если он по-вашему поступает?» — «До каких пор я его наставлять буду, — еще больше разгневался афанди, — когда у него ума хватит по-своему что-нибудь сделать?!».

— Ты же сам знаешь, — заметил Гафур-ака, — для поэтов школы не существует. Никого и никогда не делаешь поэтом, подсказывая ему: пиши это, не пиши так. Однако есть одно непререкаемое условие и требование ко

* Формула, которую произносил отец ребенка, отдавая его учителю старой школы.

** Здесь шутливое производное фамилии от профессии отца. Эмчи — по-узбекски «оспопрививатель», в более широком смысле «врачеватель».

всем, кто берется за перо: он должен писать то, что достойно внимания людей. А для этого надо постоянно учиться у всех. Одна голова — это одна голова, а десять голов — десять, одно сердце — это всего лишь одно сердце, а десять сердец — это десять. Однако понять, чему и как следует учиться, тоже целое искусство. Но об этом мы еще с тобою поговорим. А пока у меня один тебе совет — больше читай. Кстати, у твоего отца есть очень интересные и редкие книги.

Он немного подумал и спросил:

— Надо полагать, ты знаешь арабский алфавит?

— Нет, — ответил я, — не знаю.

Видимо, ответ мой был неожиданным и странным для Гафура Гуляма, потому что он посмотрел на меня с удивлением и даже некоторым, как мне показалось, сожалением.

— Отец твой, хорошо или плохо, но владеет персидским и арабским языками, да и мать — грамотная женщина. В своей махалле они учат детвору грамоте, заставляют их читать в подлиннике Навои и Фузули, как же до тебя дело не дошло? Почему тебя-то ко мне на выучку направили! Учись, дескать, у Гафура Гуляма. Впрочем, ладно, и такое бывает. Только языки знать надо, иначе как же ты классическую литературу поймешь, как у классиков учиться станешь, многоуважаемый товарищ Эмчиев? Вот так-то! А стихи приноси теперь без всякого стеснения. Что касается арабского алфавита, то овладеть им особого труда не составляет. Для начала возьми у отца Хафиза и выучи на память хоть одну газель. Если у отца времени не будет, мать поможет выучить. А об остальном поговорим потом.

Вот и получилось по народной поговорке: воде, текущей у ног наших, цены мы не знаем. Искал я учителя, а учитель меня к отцу с матерью направил, и оказался я снова у родной матери в учениках. А подумать — мама и в самом деле была первым моим наставником. Именно она с детства приучила меня к ритмам и гармонии поэтический строки.

Стоило мне проявить какую-либо невоспитанность или совершить недостойный поступок, мама не донимала меня долгими назиданиями и наставлениями, а отчитывала соответствующими двустихиями из Навои, Саади, Суфи Аллаяра или других известных поэтов. Старшие сестры

до сих пор вспоминают, что она и люльку мою качала под строки Абдуллы Тукая:

Недолго ему в колыбельке томиться,
Отправится в школу и будет учиться.
Недолго ему в колыбельке качаться,
Отправится в школу ума набираться.

Как видно из статьи Гафура Гуляма, отец мой, оспрививатель, должен был постоянно находиться в разъездах по городам и кишлакам, а потому дома бывал очень редко и неподолгу. Само собой разумеется, что все заботы по моему воспитанию ложились на маму. Она в основном и прививала мне, так сказать, «поэтический дух», учила чувствовать и понимать красоту, прекрасное в жизни и в людях. Вообще мама моя была набожной и грамотной, что по тем временам являлось редкостью, она много читала «светских», мирских книг и очень уравновешенно и внимательно относилась к людям. Мама знала наизусть очень много стихов. Даже если в детстве до меня не доходила суть большинства из них, то все равно я постоянно жил в атмосфере поэзии. Это рождало в воображении неясные, но волшебные видения, заставляло задумываться, к чему-то стремиться, чего-то смутно, но страстно желать. Не это ли все и пробудило во мне потребность писать стихи?

Прежде всего проявилось это в избирательном отношении к цвету, к краскам окружающего мира. Меня никогда не влекли слишком яркие, кричащие краски. И в одежде, и в перочинных ножичках — пределе ребячьих мечтаний, и даже в подборе бумаги для воздушного змея я отдавал предпочтение цветам мягким, неброским. Всякая несоразмерность раздражала меня, выводила из себя — будь то крыло змея, оказавшееся длиннее другого, или криво склеенный его каркас. Я снова и снова переделывал змея, пока не добивался желаемого совершенства его формы.

Насколько радовался я ранним весенним грозам, когда в небе клубились густые тучи и на землю хлестал обильный дождь, настолько летом раздражало меня крохотное, с лошадиное копыто, облачко в чистом прозрачно-голубом небе. Я ходил нахохлившись, как потревоженная клушка, становился обидчивым, грубым.

В таком примерно настроении возвращался я и от

Гафура Гуляма. Встреча несколько не удовлетворила меня, она оказалась далеко не такой, какой я желал. Ведь меня интересовало одно, самое для меня главное: выйдет ли из меня поэт или не выйдет? Гафур-ака же ни на вопрос этот не ответил, ни по поводу стихов моих ничего определенного не сказал, отделившись анекдотами да побасенками. Да порекомендовал к тому же зубрить стихи Хафиза. «Так ли уж необходимо сегодня, — с обидой думал я, — знать на память Хафиза, чтобы стать поэтом?»

Мама сразу заметила перемену в моем душевном состоянии и откликнулась на нее строками из Саади, суть которых сводилась к тому, что суровость учителя предпочтительнее любви родного отца... Учитель никогда не пожелает своему ученику плохого! — подбодрила она меня, совсем было уже упавшего духом.

Отец горячо поддержал маму.

— Наставник, — сказал он, — это не школьный учитель, который с тобою «проходит» в классе учебник от доски до доски. Наставник — это прежде всего воспитатель, человек, который, видя, что ты сделал и что можешь сделать, понимая, какой профессией ты можешь понастоящему овладеть, наставляет тебя на путь истинный, единственно верный для тебя. Когда ты стоял около дома Гафура Гуляма, признайся, ты не сразу решился переступить порог, не зная, что скажет он о твоих стихах. Не так ли? Наставничество, учительство Гафура Гуляма проявились уже в том, что он пробудил в твоей душе чувство ответственности. Теперь о том, выйдет из тебя поэт или не выйдет? Если бы Гафур Гулям видел, что не выйдет, он не стал бы на тебя и времени тратить, не стал бы говорить тебе всего, что сказал, не стал бы советов и заданий давать. Ведь все говорилось только для тебя.

Слова эти немного меня ободрили и воодушевили. Я постепенно прозревал. И в самом деле, после беседы с Гафуром Гулямом я почувствовал, как многого я еще не знаю. Действительно, уже в этом проявилось его учительство, наставничество. После этого долго-долго я не осмеливался снова встретиться с Гафуром-ака.

Несколько раз я порывался пойти к нему, но каждый раз, вспомнив, как он «припечатал» мои стихи недозрелой виноградиной, задумывался и откладывал визит.

Поскольку мой отец по-прежнему находился в постоянных разъездах, Хафиза я на память так и не выучил. А если уж всю правду говорить, просто терпения не хватило...

...Возвращаясь со встречи с начинающими шахристанскими поэтами, к полудню мы прибыли в Асаку. Решили выпить по пиале-другой чаю. Едва мы вошли в чайхану, как беседа наша приняла другое направление.

Всем известно особенное гостеприимство и радушие андижанцев. Чайханщик, узнав, что мы люди заезжие, а значит, гости, тут же прошелся метелочкой по паласам, которыми было покрыто сурп* в самом почетном углу, быстро застелил паласы красивыми шелковыми курпачами**. Неподалеку от водяной мельницы на берегу Асака, в тени густого ивняка, был сооружен большой очаг, от которого исходили дразнящие, аппетитные запахи плова. Около двадцати котлов***. Народу вокруг тьма. Мимо нас то и дело проходили люди с большими глиняными блюдами, на которых горой возвышался янтарный плов с кусочками подрумяненного мяса. Все это благоухало. Каждый проходящий обязательно поворачивался к нам и, улыбаясь, будто родным или близким друзьям, радушно приглашал нас:

— Пожалуйте, гостями будете, поешьте нашего плова.

То ли чистый воздух и прохлада подействовали на нас, то ли созерцание этого изобилия яств, но и у нас у всех разыгрался аппетит. Решили и мы организовать небольшой плов. Попросили об этом чайханщика. Управился он очень быстро. Вот и плов мы съели, стали было доставать деньги, чтобы расплатиться, но чайханщик остановил нас жестом и коротко бросил:

— Уже уплачено!

Кем? Ни мы, ни даже чайханщик так и не узнали, кто из сидящих вокруг — а может быть, уже и ушедших? — это сделал.

* Сурп — широкий деревянный помост для сидения.

** Курпача (букв.: одеяльце) — узкое ватное одеяло для сидения, ватная подстилка.

*** Чайхана в Средней Азии — своеобразный клуб, место проведения времени с друзьями за пиалой чаю, за пловом; плов обычно в складчину готовят сами посетители-мужчины, поэтому в чайхане устанавливается большое количество котлов.

В этой связи кто-то из друзей рассказал об одном событии, свидетельствующем об удивительной щедрости нашего народа.

— У Хатама был крылатый конь, который легко возносил его к облакам. Чтобы удостовериться в справедливости молвы о щедрости Хатама, несколько человек решили попросить у него этого чудо-скакуна. Хатам гостеприимно принял их вечером у себя дома, а поутру один из гостей и говорит:

— Мы пожаловали к вам с большой просьбой. Наш младший брат собирается жениться, однако девушка, в которую он влюблен, заявила, что выйдет замуж лишь за того джигита, который опередит всех на скачках. Мы слышали, что у вас есть крылатый конь, который в прыжке достигает облаков. Не могли бы вы отдать его нам?

Хатам ответил:

— Будь у меня не один такой скакун, а десять, я бы их всех для вас не пожалел. Но вот незадача. Вы пришли ко мне в гости вчера поздно вечером. Гостей, как полагается, надо обильным угощением попотчевать. Собрался я в вашу честь молодого жеребенка зарезать, а табуи весь на пастбище. Вот и пришлось этого самого скакуна зарезать, чтобы гостей честь по чести принять.

Конечно, то, что андижанцы угостили нас пловом, нельзя сравнивать с крылатым конем Хатама, но гостеприимство есть гостеприимство.

Тут я вспомнил несколько притч, которые друзья отца рассказывали в нашем доме.

Дело в том, что с некоторого времени отец старался, чтобы я присутствовал во время его бесед с друзьями, любителями чтения. Они часто приходили в наш дом и долго беседовали, обсуждая прочитанное.

Собирались они обычно во внешнем дворике. Чаше других бывали мастер Максуд, Карим Кори и Закир Паровоз. Ну, почему «Кори», понятно. Эта приставка (по-узбекски она звучит «хори») обозначает человека, знающего наизусть весь Коран, то есть человека грамотного, высокообразованного (по тогдашним временам, разумеется), Закира же звали с приставкой «паровоз», потому что он работал на паровозоремонтном заводе.

До сих пор я помню одну беседу отца со своими друзьями.

Речь зашла об одной из притч Саади, в которой тот обличал несправедливость падишахов, тяжбы и войны между государствами, славил человеческую щедрость и порицал скупость. Каждый высказал свое отношение к рассказу. Мнения не сошлись, и разгорелся жаркий спор.

Наиболее близкий друг отца, хорошо знавший классическую литературу, понимавший шутку и сам умевший тонко, умно пошутить, Карим Кори заявил:

— Непревзойденный мастер Саади неподражаемо написал о скупости, но он ведь нашего мастера Максуда не знал. Знай он его, совсем бы по-другому писать пришлось.

Отец мой, заметив, что мастер Максуд наливался гневом, примирительно сказал:

— Ну, нет, мастера Максуда скупым нельзя назвать. Есть такие скупцы, что не только сами никому ничего не дают, но, когда увидят, что у другого что-нибудь есть, их даже трести начинает. — И он рассказал несколько притч о скупости.

...Жил-был скупой бай. Он был очень скуп. Так, например, вечером, когда надо было зажигать лампы, он собирал лампы со всего дома в одно место, чтобы зажечь их все от одной спички.

Однажды, засветив таким образом лампы, бай отправился в мечеть на позднюю вечернюю молитву. Только было он склонился в земном поклоне, как вдруг на него нашло сомнение: а погасил ли он, уходя, лампу в своей комнате? Недомолившись, бай потихоньку, чтобы не привлечь внимания, распрямился, вышел из мечети и со всех ног припустился к дому. Запыхавшись, стал барабанивать в дверь. Из дома послышался голос одной из его многочисленных дочерей:

— Кто там?

— Это я, отец.

Дочка узнала голос отца и говорит:

— Отец, двери не заперты, а просто затворены, входите. — И хотела уж распахнуть двери перед отцом.

Но отец закричал:

— Не надо, не надо. Не трогай двери. Нечего ее открывать без дела, навески быстрее сносятся. Я пришел только узнать, погашена ли лампа в моей комнате. Посмотри и скажи мне



— Вот, отец, — сказала с укоризною дочь. — Вы беспокоитесь, не сгорел бы в лампе керосин и не истерлись бы навески у двери, а не подумали о подошвах чувак, пока бегали туда и сюда.

— Успокойся, доченька, — ответил бай. — Пока я бежал сюда, чуваки держал под мышкой.

А вот и еще одна притча.

Было у одного бая два сына. Старший был кутила и мот. Так и сорил деньгами, чтобы пожить в свое удовольствие. Младший же был серьезный молодой человек, заботился об умножении богатства и приобретении добра.

Как-то раз бай со своими приятелями вышел в сад и говорит младшему сыну:

— Мы спешим, нам нужно в одно место ко времени успеть. Скажи невесткам, пусть побыстрее приготовят нам чай.

Однако невесток не оказалось дома, и сын сам решил все сделать. Взял он чайник, зачерпнул им воды в хаузе и поставил на керосинку.

Отец, видя все это, подошел к сыну и говорит:

— А ведь на тебя вся моя надежда была. А теперь я, пожалуй, не доверю тебе свое состояние. С такой расточительностью ты не приумножишь его.

— Да что такое я сделал? — удивился сын.

— Как же? Разве можно чайник в пруд окунать и зачерпывать воду. Надо было ковшом налить. Ведь мокрый чайник дольше не нагреется, и керосину больше уйдет.

Тогда сын, чтобы оправдать перед отцом свою репутацию бережливого человека, сходил в дом и принес от туда какую-то короткую ниточку. Не понимая, что бы это могло значить, отец стал нитку разглядывать.

— Вот уже несколько лет, — пояснил сын, — с приходом весны мы делаем голубцы из виноградных листьев. Так вот, когда голубцы мы съедаем, нитки, которыми их обвязывают, я не выбрасываю, а собираю и вешаю на колышек до следующего раза. Так уже четыре года мы и готовим голубцы, обвязывая виноградные листья одними и теми же нитками.

— Да будь ты благословен, сын мой! — воскликнул обрадованный отец. — Теперь-то уж я по-настоящему в тебя верю...

— Вот это скупость так скупость, — заключил притчу мой отец. — Разве скажешь такое о мастере Максуде! Отец хотел еще что-то добавить, но Закир Шаровоз решительно перебил его:

— Нет, не скажите, Максуд-ака ни одному из этих скупцов не уступит. Вот я вам сейчас расскажу одну историю...

Но тут окончательно вышедший из себя мастер Максуд, воинственно вытянув длинную, как у бойцовского петуха, шею, отчетливо выговаривая, будто чеканя, каждое слово, чуть ли не закричал высоким голосом:

— Помолчи-ка, Закир, не выставляй напоказ свою невоспитанность!

И стал развивать перед друзьями свою собственную философию по существу спора.

— Щедрость и гостеприимство не в том заключаются, чтобы безумно расточать направо и налево нажитое трудом. Она в любви к человеку, в искреннем уважении к нему.

Есть такие, что назовут в дом гостей, выложат перед ними все, что есть за душой, стараясь, как говорится, перед людьми лицом в грязь не ударить, а на самом деле все это ради определенной корыстной цели, чтобы дело свое какое-нибудь поскорее и легче повернуть. Подлинной щедростью и радушием здесь и не пахнет. Другие же ни перед кем не заискивают, то, что заработали честно, на то и рассчитывают, по одежке протягивают ножки. И это, мулла Закир, никак скупостью назвать нельзя.

Закир-ака только было собрался возразить, как его опередил Карим Кори:

— Мастер Максуд прав, истинная щедрость и подлинное гостеприимство — это бескорыстие, это чувство собственного человеческого достоинства.

Во время поездки в Андижан я сам убедился в этом.

У одного андижанца только что умерла мать, и в доме стоял скорбный плач, царило траурное настроение. Но вот кто-то постучал в калитку двора. Открывает хозяин калитку, а на улице человек на лошади: в гости из далекого города приехал. Хозяин дома, как водится, тепло поздоровался с гостем, расспросил его о здоровье, о житье-бытье, пригласил в дом. Пока гость в ворота въезжал, хозяин бросился в дом и попросил всех прекратить плач и причитания.

Только на другой день гость догадался о несчастье в доме.

Почему же гостю с вечера всей правды не сказали? Ведь горе в доме! А потому, что человек издалека приехал, устал с дороги, проголодался, и разве можно было его на ночь глядя отпускать неизвестно куда?

Вот это истинное гостеприимство!

Несмотря на то, что основной профессией Карима Кори был кустарный промысел, он тонко чувствовал и хорошо знал литературу, пробовал и сам писать стихи, и вообще был незаменимым собеседником, способным разговаривать какого угодно молчуна, заставить его раскрыться до самых заветных глубин души. Но особенно большим мастером был он на всевозможные и зачастую небезобидные розыгрыши, умел порою так похвалить человека, что тому нездоровилось от таких похвал.

В тот день Карим Кори рассказал еще об одном примере щедрости.

— Как-то приехали ко мне в гости знакомые из Хорезма, — начал он. — А мяса у меня маловато оказалось. К тому же поздно, день на исходе... Что делать? Не обращая внимания на жену, которая помрачнела как туча, зарезал я единственного барана, которого для тоя откармливал, выставил гостям лучший мусаллас*, одним словом, расстарался вовсю: что нашлось в доме, все на дастархане оказалось. Гости остались довольны, а рано утром уехали. У меня за душой ни гроша не осталось, даже опохмелиться не на что. Жена ворчит, отчитывает меня: «Если голова раскалывается, отправляйтесь к своим друзьям, с которыми вчера пировали, пусть они тем же отплатят!» — «Эх, глупая, — отвечаю я. — За то, чем я гостей угощал, они еще вчера со мною сполна расчитались...» Жена иносказания моего в расстройстве чувств, конечно, не поняла.

«Эй, жена, — поясняю я ей, — они к нам как к людям пришли и не ошиблись, довольные уехали, благодарные за нашу человечность. А их радость — и наша радость. Мы через это получили право самими собой гордиться. Разве это не самая щедрая плата за съеденное и вышитое гостями?..»

* Мусаллас — виноградное вино домашнего приготовления.

Недаром говорится: пусть левая рука не знает, что правая кому-нибудь дает. Этим подчеркивается: не требуй особой благодарности за оказанную услугу, не напрашивайся на нее. Если ты будешь вслух укорять человека за сделанное ему благо: я, мол, тогда-то и то-то тебе сделал, с моей помощью ты на ноги встал, он вправе ответить тебе: «Возьми ради всех святых все, что ты дал мне, только оставь меня в покое!» А там, глядишь, и дружбе конец, и благо обратится во зло. Не так ли? — обратился он к Закирджану.

— Справедливо говорит мастер Максуд, со знанием дела говорит. В щедрости тоже следует меру знать, на кого попало ее расточать не надо, — сказал он и незаметно кивнул в сторону Закира-ака, будто давая понять, мол, дальше сам действуй, как найдешь нужным.

Но Закира Паровоза не так-то легко было провести, он сразу почуял подвох и возразил:

— С тем, что вы сейчас сказали, Карим-ака, согласиться нельзя. Максуд-ака очень хорошо о щедрости говорил, только сам он любому скряге нос утрет. Скажите, вы видели когда-нибудь, чтобы дрова продавали, взвешивая на ручных весах? Так вот этот человек на такое способен. А как это назвать? — подлил он масла в огонь.

Собеседники и в самом деле заволновались:

— Да не может быть! Неужто и в самом деле он дрова продавал, взвешивая их на ручных весах? Нет, Закирджан, уж это вы, как говорится, загнули, никто из нас о подобном не слышал.

Все повернулись к Закирджану, как бы предлагая ему самому обо всем рассказать.

Но тут окончательно взорвался мастер Максуд.

— Я не тебе чета, — закричал он гневно и пронзительно. — Я не из тех, кто гусем выступает, важно выгнув шею, а сам на обципанного воробья похож!

Он собрался уже объяснить, почему продавал дрова, взвешивая их на ручных весах, но кто-то из сидевших перебил его:

— Мастер Максуд, дайте же и Закирджану до конца высказаться.

На самом деле, конечно, мастер Максуд не был таким жадным и скаредным. Просто на этот счет у него были свои взгляды, собственная, так сказать, философия.

Даже самая простая и непритязательная одежда выглядела на нем как дорогой и изысканный наряд, ни пятнышка на ней, ни пылинки. И вообще он был человеком предельно утонченной натуры, чистоплотный и щепетильно аккуратный. На улицу он иначе, как с цветами, не выходил. Приглянется ему кто-нибудь, он тут же подойдет, поздоровается и скажет:

— Дай тебе господь здоровья и долгих лет жизни, по всему видать, хороший ты человек!

И вручит ему цветы.

Дома, в хозяйстве, у него всегда был идеальный порядок. Он очень не любил одалживать что-либо у соседей. Но уж если приходилось взять что-нибудь, то вернет точно в назначенный день.

Мастер Максуд ни дровосеком не был, ни дровами не торговал. Основная его профессия — седельщик. Он постоянно вымачивал в арыке, что протекал по нашей улице, всевозможные рога: витые бараньи, прямые заостренные козлиные, большие воловьи. Когда они как следует размокнут и размягчатся, мастер пускал их на украшения для седел и сбруй. Но потом на лошадях стали ездить все меньше и меньше, да и сам мастер постарел и ремесло свое постепенно оставил. Древесину же, что была запасена для седел, стал продавать. Но и продавал он ее по-своему, не так, как все это делали. Сначала он взвешивал бруски и дощечки на ручных весах, а затем увязывал их в нужные по размеру и весу вязанки. Если какой-нибудь брус весил больше, чем надо, он его обстругивал, а стружки к вязанкам давал как поход. Многих это удивляло, и люди спрашивали недоуменно:

— Зачем вы это делаете?

— Всякий народ есть, — пояснял мастер, — одному вязанка чуть больше покажется, другому чуть меньше. А так они все одинаковы, и никто не станет мне голову морочить, все заранее будут знать: взвешено как в аптеке, выбирать — только время терять. Вот и не будут потом мастера Максуда за глаза чернить: одному, дескать, побольше вязанку продал, а мне что поменьше.

Рассказ мастера вызвал дружный смех. Но мастер Максуд совершенно серьезно продолжал:

— Распутство — грех, и воровство тоже! В том же, что по справедливости и честно делается, никакого греха нет. Вероломство и подлость на большие и малые не делаются.

Будь, как говорится, осторожен, но соседа вором не считай!..

И мастер Максуд рассказал о том, как из-за одной таньга* он рассорился с приятелем, с которым до того сорок лет были в самой крепкой дружбе.

— Один мой друг решил устроить той. Отправились мы вместе с ним на базар за кишмишом. Договорились с продавцом о цене. Но тот отвешивал как раз орехи и джиду, поэтому отдал нам мешок с кишмишом и говорит: «Найдете свободные весы и отвесьте сколько вам надо». Друг мой вместо десяти килограммов с внушительным походом отвесил все одиннадцать. Однако рассчитываться стал лишь за десять. Поразился я этому и спрашиваю:

— Послушай, дружище, а ты, случаем, не ошибся? Ведь каждый килограмм ты с немалым походом взвешивал, да к тому же вместо десяти одиннадцать...

— Э, есть над чем голову ломать! — беззаботно отозвался приятель. — Он же этот кишмиш не покупал? В своем саду собрал. Да потом, он и не видел ничего.

Пустяк вроде, а в душе у меня что-то перевернулось, глядеть мне на своего бывшего друга стало тошно. Даже жене своей запретил перед ним без паранджи появляться. И дело здесь вовсе не в одном килограмме кишмиша и не в несчастной таньга, будь она неладна, а в том, что человек на эту таньга собственную совесть разменял. Человек, способный даже по мелочи чужое урвать, и на более тяжкое преступление пойдет. Мелочь всегда влечет за собой большое и серьезное. Вот так-то, — закончил мастер Максуд, пристально глянув на Закирджана, — щедрость не в том только, чтобы свое другому отдать, но и в том, чтобы на чужое не позариться.

Закир Паровоз, почувствовав, что мастер Максуд слишком уж все принял близко к сердцу, и разобиделся, и готов даже подняться и уйти, мягко положил ему руку на плечо и примирительно, добродушно сказал:

— Я восхищаюсь вами, мастер Максуд, да сопутствует вам счастье в жизни! У меня и в мыслях не было посмеяться над вами. Все, что вы говорите, справедливо и мудро. Вот только жалко, что ваша мать десятерых таких же, как вы, не родила. Поставить бы таких совестили-

* Таньга — серебряная монета достоинством в двадцать кешек.

вых да бережливых во главе некоторых наших организаций, особенно строительных, давно бы мы с расточительностью и разбазариванием народного добра покончили. Ведь в чем загвоздка? Вы-то, чтобы ни грамма чужого не взять, даже дрова на вес продаете... А как с другими быть? Другие-то станут ли так же поступать? Есть и такие, что не только вязанку дров, а разных материалов на целый дом хапнут, и, представьте, им ни перед людьми, ни перед богом не стыдно.

Недавно один из моих знакомых затеял строить дом. Не прошло и месяца, как появился основательный бетонный фундамент, а там и стены пошли расти, да и не простые, а из первосортного обожженного кирпича. Одним словом, дом рос как в сказке: что ни день, то рамы, что ни другой — то пол из отборных досок. Но смотрим, как до крыши дело дошло, так и застопорилось: целых два года готовый дом никак покрыть не могут. Спрашиваю у хозяина:

— Что случилось? Так быстро строительство шло, а готовый дом, под крышу подведенный, покрыть никак не можете?

— Э, дружище! — ответил тот. — Разве только мой дом... У других тоже они некрытые стоят. Государство неподалеку от нас большую стройку ведет. Получают строители бетон — и мне фундамент перепадет, кирпич пошел — я стены выложил, полы настилать начали — и у меня полы появились. Но вот уже несколько лет они не могут свой дом покрыть, а из-за них и мы страдаем. Где нам кровельного железа достать? Вот и киснут наши строения под дождем да снегом, все труды могут прахом пойти...

— Такие дяди за государственный счет не на одном только строительстве разживаются. Вот, например, одну улицу по пять раз асфальтируют. Уму непостижимо, откуда на это средства берутся? И поразительно, что за подобное разбазаривание не только не наказывают, но даже премии дают... Вот я и хочу сказать, Максуд-ака: с вашим нравом лучше всего этого не видеть и не знать. Иначе вы или инфаркт получите, или в сумасшедший дом попадете.

Мастер Максуд как-то вздернулся от этих слов, вытянул шею, словно петух, собирающийся кукарекать, и возбужденно сказал:

— А почему, почему все это происходит?

Кто пытался обвинить в халатности руководство стройки, кто сторожей, а кто прорабов. Были и такие, кто сетовал на мягкость законов, на то, что серьезных мер против всех этих безобразий не принимается.

Однако мастер Максуд ни с кем не согласился. Все больше распаляясь, он чуть ли не кричал:

— В чем закон виноват?! Никакой он не мягкий. За такие вещи по пятнадцать лет дают. Разве это маленький срок? Причины этих безобразий в другом. В дружках да приятелях, в кумовстве они. Нет, если бы меня, как ты говоришь, начальником туда поставили, я бы с ума не сошел и сердце бы у меня не разорвалось, можешь быть спокоен. Я бы в первый же день все это кумовство на корню пресек. Да, да! В кумовстве все дело, в друзьях-приятелях! Отсюда все беды!

Каждый идущий на нечистое дело первым долгом думает о том, на кого бы опереться в случае чего, а уж потом и решается на злоупотребления. И вот, прежде чем украсть, заблаговременно наметит, куда бежать и где прятаться.

— По-вашему, выходит, попади кто из родных или друзей, как вы говорите, в беду, так и помогать им не следует?..

Но мастера Максуда не так-то легко было на мякине провести, он был стреляный воробей.

— Один ошибается, не ведая, что делает, а другой сознательно на нарушение идет, — резонно возразил он. — В первом случае стоит и вмешаться, потому что есть надежда помочь человеку, наставить его на путь истинный. А вот когда человек считается коммунистом, потому что в партии состоит, а сам взятки без зазрения совести берет, чтобы потомков своих обеспечить до седьмого колена, ради собственного благополучия черное белым называет, а дурное хорошим, за таких заступаться не следует! Каждый, кто ценит истинную дружбу и родственные чувства, больше всех и должен восставать против подобных «ошибок». Ибо все на свете с мелочей начинается. у большой беды обычно пустячные причины, у серьезного преступления — самые безобидные проступки в истоках.

Капля к капле, а глядишь, и запруду прорвет. Люди, подобные моему вашему приягелю, сначала позарятся

на килограмм изюму, а там, глядишь, и целый мешок готовы хапнуть...

О чем только не говорили друзья моего отца, собираясь в нашем доме.

Я не знаю, выпивал ли мой отец в молодости, но сколько себя помню, ни разу не видел, чтобы он выпил хоть рюмку. Услышит чье-нибудь безобидное предложение «по маленькой пропустить», тут же заметит:

— А это ведь все одно что пригубить, что бочку вылакать.

И дурной поступок, и благое дело, начинаясь с мелочи, с неприметного, оборачиваются потом привычкой, входят в обыкновение.

Так, между прочим, и с выпивкой. Человек в нее постепенно и незаметно втягивается, но, втянувшись, отказать от этой страсти не в состоянии.

Когда речь заходила о вреде выпивки, вообще-то никто всерьез не возражал моему отцу. Один только Сунатулла-махсум, то ли потому что сам любил шумные застолья, то ли из духа противоречия иногда хоть и шутиливо, но пытался оспаривать отца.

— Тех, кто пьян от вина, — не бойся, — говорил Сунатулла-махсум. — Бойся того, кто пьян без вина.

Тут он начинал развивать свою философию, чем неизменно приводил отца в крайнее раздражение.

— Пьяницы, они пьяницы и есть. А вот, кто одержим разного рода страстями... Будь то любовная страсть, будь то страсть к поэзии, к искусству, к разному собирательству, к скопидомству...

Конечно, говоря о силе привычки, о том, что, учившись чему-нибудь один раз, разучиваться не так-то легко, отец имел в виду не только пристрастие к спиртному. Он любил рассказывать про одного почтенного старца, который в детстве научился ездить на велосипеде, а потом за всю жизнь больше ни разу на него не сел. Старец был уверен, что не сможет усидеть на этой двухколесной штуке, но однажды решил попробовать, сел и поехал, как будто не прошло семидесяти лет.

Про старца с его велосипедом он рассказывал обычно, когда я учил уроки, намекая, что все, что я узнаю сейчас, буду знать и в старости, то есть всю жизнь.

— Пьяница проспится — и опять нормальный человек. Опьяненные же любовью, науками, искусством,

глухи ко всему остальному, их не своротишь с пути, не заставишь думать о чем-нибудь другом. Их не интересуют ни богатство, ни слава, ни жизненные блага... Они забывают о них. Возьмите хотя бы Алишера Навои: думал всю жизнь о стихах, занимался стихами, как будто это серьезное дело, а жизнь прожил, не познав даже радости быть отцом!

Эти рассуждения немало потешали всех слушающих и доставляли им минуты веселья, но мой отец каждый раз ловился на удочку Сунатуллы-махсума и сердился всерьез. Никак он не мог примириться с попыткой защитить пьянство, хотя бы и в такой шутливой форме.

— Да, Махсум, — говорил отец, — жаль, что сам Навои тебя не слышит. Он тотчас бы перестал заботиться о судьбах народа, бросил бы такую пустую забаву, как стихи, и сделался бы самым ревностным твоим собутыльником...

Сунатулла-махсум всю жизнь работал в торговых организациях, однако ему нельзя было отказать в знании и понимании жизни, всех ее светлых и темных сторон. Во время любимых им застолий он, конечно, меньше всего говорил о своей торговле, но мог толково и трезво беседовать о вещах незаурядных, возвышенных. На этот раз язвительной иронии моего отца он дал отпор строками из Захриддина Мухаммада Бабура:

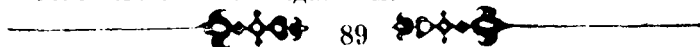
Весны цветенье, юные подруги и круг друзей,
Вино, стихов пленительные звуки в кругу друзей,
Любви томленье, сладостные цепи в кругу друзей,
Мы каждому тотчас узнаем цену в кругу друзей.

У людей торговые работники часто являются предметом далеко не лестных разговоров. Да ведь многие из них сами дают повод для таких суждений, особенно те из них, что пекутся лишь о собственных выгодах, и, обуреваемые ненасытной алчностью, думают лишь о наживе, а вовсе не о тех путях и средствах, которыми добывают они свой длинный рубль.

Вот я однажды и спросил у Сунатуллы-махсума:

— Вы же знали, какой репутацией пользуются торговые работники, зачем же пошли в эту самую торговую сеть?

Ответ его был неожиданным:



— А ты почему поэтом стать хочешь? У меня это тоже влечение души, тоже страсть, если на то пошло! Тебе, например, доставляет наслаждение читать свои стихи людям. И я тоже удовлетворяю их потребности. Ты им духовную пищу даруешь, а я их материально поддерживаю на этой грешной земле. Я горжусь тем, что я торговый работник.

Ты хорошо знаешь историю? Если не очень хорошо, почитай внимательно и увидишь, что испокон веков лишь те города расцветали и богатели, росли и благоустраивались, через которые пролегали наиболее оживленные торговые пути. Выходит, «торговый работник» превращал захолустье в процветающий город, значит, «торговые работники» — двигатель культурного прогресса!

Торговые работники — это такие же ученые и такие же дипломаты, они хорошо осведомлены обо всем, что делается в самых отдаленных уголках белого света, где какие рыночные цены, как живут народы. И эти знания не из вторых рук. Они черпают их из живого общения с людьми, а еще из самого достоверного и объективного источника, из деловых документов, всяких там книг доходов и расходов, которые никогда не соврут, в них мир отражается, как солнце в капле воды. Причем тут не просто любознательность, но профессиональная необходимость, потому что без этих знаний никогда не удовлетворишь потребности покупателя.

И правду сказать, в магазинчике Сунатуллы-махсума чего только не было! Спроси птичьего молока — и его, пожалуй, получишь. Он любил рассказывать один эпизод.

— Приходят как-то ко мне два покупателя. Они, оказывается, заключили между собой пари, один говорил, что у меня в магазине все есть, другой горячился, что этого не может быть.

Спрашивают одно, спрашивают другое, я им немедленно выкладываю. Чего бы ни попросили — я тут как тут. Тогда тот, что проигрывает пари, решил ударить последним козырем и вежливенько так спрашивает, заранее предвкушая свою победу, а мою растерянность:

— А конского помета у вас не найдется?

А я с самым деловым видом интересуюсь:

— Вам свеженького или посуше устроить?

Все это, конечно, лишь небольшая часть тех бесед, которые велись в нашем доме, а сегодня мне припомни-

лись. Подумалось сейчас: кто только не побывал в этом маленьком домике, кто только не прошел через него!

Отчий дом!..

Здесь человек переживает и радостные и печальные события, добро и зло; встречает самых разных по одежде, по характеру и по профессии людей, чего только не наслышится он от них. На пороге этого дома повстречает он и вороватых цыганок-гадальщиц, и нищих, просящих милостыню. Переступят его и министр, и шашлычник, и женщина, еще не отказавшаяся от паранджи, и убежденный атеист, и длинноволосый юнец в сверхмодных черных очках, и родные, близкие, и вовсе незнакомые люди. Кого только не перевидит с детства человек в отчем доме! В доме этом отшумят для тебя все заботы и тревоги мира, все веселые застолья и свадьбы, здесь ты услышишь советы на все случаи жизни, а заодно и все ссоры и скандалы в семьях твоих родных и близких... Одним словом, здесь ты познаешь вкус настоящей жизни, здесь придет к тебе ее понимание, здесь сформируются твой разум, твои вкусы, привычки и пристрастия.

После того как разойдутся из нашего дома любители чтения, отец усадит меня рядом с собой и обязательно скажет:

— Теперь-то ты, наверное, хоть немного понял, в чем заключается суть чтения и как надо понимать книжную мудрость. Да, книга пробуждает в человеке новые мысли, будит в нем стремление к новым целям, помогает изменить образ жизни.

Саади сказал:

Чем больше книг ты в жизни прочитаешь,
Тем большую тебе воздам хвалу,
Но если знания в жизнь не претворяешь,
Тебя я уподоблю лишь ослу.
Вон, видишь, тащится с тяжелым грузом он,
Но сознает ли, чем он нагружен?
Поверь мне: безразлично для ослов,
Тащить ли книги иль вязанку дров.

«Не претворяющий знания в действие, — гласит народная мудрость, — подобен слепому, несущему факел». Книги следует не только читать, — поучал меня отец, — но и уметь почерпнутое из них применять в жизни.

Однако сколько я ни слушал стихов и рассказов, сколько ни прочитал книг, мне не удавалось обнаружить

в них ничего достойного и годного для применения в жизни.

Дело, видимо, в том, что в ту пору я видел в стихах лишь звезды в бездонном просторе небес, слышал лишь хрустальные струи, звенящие ручьи, чарующие соловьиные трели, меня пленяли в них лишь радужные переливы цветов. Не дано мне еще было понять, что знать жизнь — одно, а образно воспроизводить ее — совсем другое!

Однажды, было это где-то между 1939 и 1940 годами, пришел я к Мирмухсину. Застал я там и Саида Ахмада. Оказывается, они вдвоем писали один рассказ. Не знаю, что двигало ими в этот момент, может быть, они хотели обрадовать меня возможностью увидеть и свое имя под рассказом — они предложили и мне вписать в него несколько фраз. Какие там фразы, хоть бы несколько слов из себя выдавить! Нет, думаю, ничего у меня не получится. Но прямо сказать им об этом я постеснялся. Вот и сидел корпел, делая вид, что и в самом деле пишу. Поняв мое состояние, друзья избавили меня от страданий, заявив:

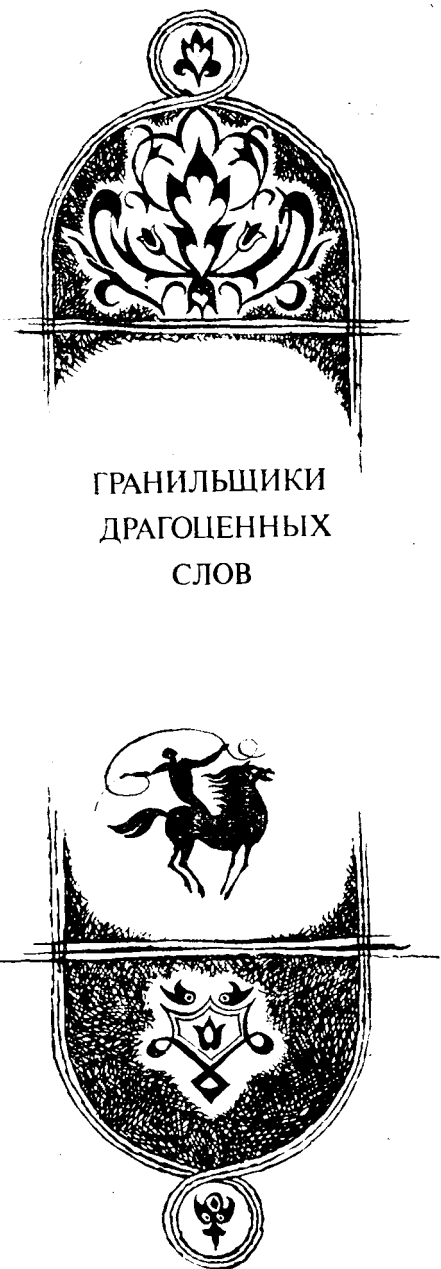
— Ладно, оставь, мы рассказ уже закончили.

Они-то меня по душевной доброте пощадили, но сам я от беспомощности своей страдал невообразимо.

Эту мою неспособность к прозе и имел в виду Шухрат, когда сказал как-то мне:

— Заявление как следует написать — уже большое дело, так что о прозе и не помышляй, продолжай писать свои стихи.

Я на них не обижался, просто самому перед собою было пеловко. Но зато они побудили меня к упорным поискам.



ГРАНИЛЬЩИКИ
ДРАГОЦЕННЫХ
СЛОВ





Весешии гоже траи пруду слокко
Разверкаи весешии и весешии
В халте дерей зраи река,
Вежит, кити о селитоту река.



ино созревает в кувшине, а мысль в человеке. У небдуманного, несозревшего

слова нет ни аромата, ни крепости, как у преждевременно открытого, невыстоявшегося вина.

Увидя, что ты ходишь и все время о чем-то думаешь, удивляются и близкие и посторонние. «Да что у тебя, десятеро по лавкам, что ты все время голову ломаешь?» Даже мать — и та иногда скажет: «Раба думы убивают. Ну и что ты все думаешь, думаешь... Пока думающий раздумывает, рискующий добывается удачи. А если тебе писать не о чем, сходи лучше проведай старшую сестру. Все лучше, чем сложа руки сидеть...»

Как видно, она считала, что я в раздумья ударяюсь от безделья и праздности.

Тогда за меня вступался отец. Обычно в таких случаях он говорил:

— Не огорчалась бы понапрасну. Что толку от твоих разговоров? Сама только что сказала, что из когтей раздумья двух человек на свете не вызволить: раба и поэта. Теперь бесполезно сетовать на то, что сын стихи пишет. Слова гранить все равно, что в белом дневном луче цвета различать. Сразу, с ходу, быстро это дело не получается.

Однажды Тимур вознамерился построить мечеть, которая привела бы в изумление весь мир. Пригласил он искуснейшего из зодчих и велел ему в тот же день при-

ступить к работе. Сколько ни пытался зодчий втолковать владыке, что такое здание в короткий срок не воздвигнуть, Тимур был непреклонен. Поставленный в безвыходное положение, зодчий подготовил котлован, заложил фундамент и в ту же ночь скрылся. Как говорится, небо и землю перевернули, но беглеца не нашли. Через два года зодчий сам явился к Тимуру. Правитель был вне себя от ярости.

— Шахиншах, — молвил между тем мастер, — в срок, назначенный вами, такое здание возвести можно. Только каким бы красивым и величественным ни получилось оно, строению была бы уготована короткая жизнь. Печален конец дела, выполненного необдуманно. Для того чтобы построить здание таким, каким вы сами хотели бы видеть его, нужно было время для размышлений. Все эти два года я тем только и занимался, что думал над будущим строением. Сколько стран обошел я, сколько дворцов и замков повидал! Я начертил план мечети, которая будет столь же прекрасной, сколь и долговечной. Я хочу возвести такое здание, выше которого будет одно только небо. Я бы и выше поднял его, если бы не мешал небесный свод.

Вот что рассказал мой отец.

Из грубы очага, в котором жгут сырые листья, ничего, кроме дыма, режущего глаза, не поднимется. Котел на таком очаге не закипит.

От разных людей самого разного наслушаешься о труде писателя. Одни считают писательство делом чрезвычайно простым и легким, похожим на то, как формируют кирпич-сырец из мягкой и податливой глины. Но ведь один из глины кирпич сляпает, у другого хватит умения на глиняный горшок, а третий из той же глины создает тончайшей работы вазу.

Другие считают: чтобы стать поэтом, надо с детства сказки слушать. Но если с этим согласиться, то поэтами скорее должны стать не те, кто слушает, а те, кто сказки рассказывает. Между тем ни мама моя, ни тем более бабушка, которые знали наизусть сотни и сотни сказок, поэтами не стали. Они даже двух зарифмованных строк написать не могли.

Есть и такие, которые считают: чтобы создать

хорошее произведение, надо дни и ночи неустанно трудиться. Но и это мнение страдает односторонностью.

Есть у меня родственник. Образованный и в жизни всего хлебнул, на десять человек хватит. Начнет он кому-нибудь о пережитом и перевиденном рассказывать, люди только диву даются. «Ты бы все это не рассказывал, — советуют, — а сел да роман написал. Интересный бы роман получился!»

Мог бы и написать. Грамоте обучен, знаний достаточно. Вот родственник мой и внял советам — и в самом деле засел за роман. Несколько лет трудился. Пока начало хоть на что-то похожее выходить, у него весь запас иссяк, радужные мечты поблекли. Человек учительство свое забросил, самым малым довольствовался, все в свое детище вкладывал. Я тогда бывал у него дома, он мне читал отрывки из написанного, но слушать их было неинтересно. Все вроде правильно и последовательно, только жизни в словах нет, тепла, крови, дыхания... «Сухая трава сухой и останется», — говорят в таких случаях в народе. Жена его тоже постояла, послушала да и вышла из комнаты. Может, что по хозяйству понадобилось, может, слышала уже раньше, а может быть, как и мне, слушать не хватило терпения. Пока он писал роман, и работы лишился, и жены, но и тогда продолжал писать, самозабвенно, упорно, изнуря себя. Результат же оказался плачевным. Роман, на который было положено столько времени и труда, ради которого все было принесено в жертву, так и не получился. В чем же причина его неуспеха?

Один мастер заметил ученику, штукатурящему стену:

— Да не води ты мастерком двадцать раз по одному месту!..

— Я хочу, мастер, чтобы поглаже вышло.

— От того, что ты по одному месту мастерком водишь, стена глаже не получится, наоборот, штукатурка разжижится и совсем отвалится.

Однажды человек подрядил на базаре дровоколов, чтобы они ему в саду пни выкорчевали и на дрова их раскололи. Вот работа закончена, настало время расплачиваться. Тем, кто в поте лица, не зная ни минуты отдыха, выкорчевал уйму пней и наколол из них огромную кучу дров, хозяин заплатил по одной таньга, а тому, кто

только рядом стоял сложа руки, целых пять таньга! Видевшие это пришли в неописуемое изумление.

— Что же это получается? — спрашивают они. — Тем, кто больше работал, вы заплатили самую малость, а человеку, праздно наблюдавшему за работой, впятеро больше? Может быть, вы ошиблись?

— Нет, — спокойно ответил дехканин, — не ошибся. Не показывай он, как лучше к иню подступиться, где удобнее топором ударить, куда клин вогнать, они бы и за месяц с такой прорвой работы не управились. Да еще топоры бы паломали.

Когда я учился в институте, преподаватель литературы профессор Хамид Сулейман часто говорил нам, что тому, кто собирается стать писателем, обязательно следует вести дневник.

Во-первых, таким образом приучишь себя к каждодневному писанию. Дневник послужит своего рода упражнением для выработки стиля и дисциплины мышления.

Во-вторых, войдет в привычку более внимательно вглядываться и вдумываться в происходящее вокруг, вслушиваться в разговоры окружающих тебя людей.

В-третьих, если писателя из тебя в конце концов и не выйдет, сам дневник станет своеобразным произведением, в котором окажется запечатленным немало интересного и ценного.

Последовав совету профессора, я завел дневник. Но регулярно вести его так и не научился, видимо, потому, что душа больше лежала к стихам. Так тетрадь и осталась исписанной лишь наполовину. Недавно этот дневник снова попал мне в руки. Начал его листать, читаю.

«Есть у меня знакомый по имени Юлдаш-сичкон*. Однажды встретил он меня на улице небритого и насмешливо говорит:

— Вижу, Шукруллохон, и вы подобно Махмуду-тарашу**, только о подхвостнике и думаете!..

Сначала я не понял шутки, до меня не дошло заложенное в ней ироническое иносказание. «При чем здесь подхвостник? — думаю. — О какой это принадлежности

* Сичкон — мышь.

** Тараша — щепка.

конской сбруи и почему я постоянно должен думать?» Только позже я уразумел намек.

Вообще в народе не принято излишне разжевывать какую-либо мысль, подходить к ней исподволь, издалека, облекая рассказ в излишние детали и подробности. Вот, как говорится, басня, а вот и мораль. Нет — сразу берут быка за рога.

Если надо, например, сказать о человеке, который никакой пользы окружающим не приносит, а если что и сделает, так эту мелочь раздует в целое событие, то не очень распространяются, а возьмут и припечатают его одной-единственной фразой:

— Да, курице, не несущей яиц, он зерна не насыплет.

О неблагодарных же говорят:

— Ты ему овцу, а он тебе и клока шерсти потом не даст.

А за этим «ты лишь о подхвостнике думаешь» скрывалось целое происшествие.

Как-то в знойный летний день мои приятели Мирзасарык*, Юлдаш-сичкон, Ахмад-кара и еще несколько человек, расстелив на берегу канала в тени тополей небольшой домотканый палас, сидели и мирно беседовали. В середине, как водится, дастархан. Неподалеку на скорую руку слепленный из глины очаг, на котором, булькая, кипит шурпа**. Аромат чебреца и других трав, которыми обычно приправляются узбекские блюда, цекотал ноздри. Алима-кавак*** почему-то среди друзей не видно, хотя дутар его с кисточками на грифе висит на ветке.

Алим-кавак не был профессиональным музыкантом, но дутар любил самозабвенно. Все свое свободное время только с ним и проводил. Когда не было шумных празднеств, свадеб и застолий, он садился на берегу арыка, настраивал дутар и пел так весело и так задушевно, что постепенно все прохожие замедляли шаги, останавливались, оборачивались, а потом и вовсе возвращались, рассаживались около веселого певца и музыканта полукругом.

Гадать о том, для чего на этот раз собрались друзья,

* Сарык — рыжий.

** Шурпа — наваристый суп, обычно из баранины с овощами и специями.

*** К а в а к — тыква.

не приходилось: на ветке дерева висит дутар, рядом кипит шурпа. А я накануне ночью не спал, доделывал одну работу, и поэтому на эту дружескую пирушку у меня уже не было сил. Если же нет сил, то и радость не в радость. Но увильнуть от застоля, которым заправляет Мирза-сарык, не такое легкое дело. Не случайно его прозвали «долгоиграющей пластинкой». Я попытался было уйти, сославшись на то, что нездоровится, но Мирза-сарык был пачеку.

— Шукруллохон, — сказал он, — есть у нас пиала кипятку, так что не увиливай ты с утра пораньше от своей доли.

Пришлось для приличия хотя бы посидеть с друзьями. Поняв, что засиживаться я, несмотря ни на что, не собираюсь, Мирза-сарык говорит:

— Спасибо и на том, Шукруллохон, разделили с нами хлеб-соль. Суть ведь и в самом деле не в еде и питье, а в том, чтобы друзей уважить. Пусть лучше бык головы лишится, чем слово мужчины без внимания останется. Деды наши недаром говаривали: «С утра и от тумakov не отказывайся». Знаешь, что под этим подразумевается?

Я понял, что уйти мне так и не удастся, поэтому уселся поудобнее и приготовился слушать.

— Была у одного бая жена — молоденькая, как пятнадцатидневный месяц. Как уж там получилось, неизвестно, но попутал ее бес, влюбилась она в байского батрака. И батрак-то невзрачный, тщедушный, смотреть не на что. Кажется, дерни за нос, он и упадет. Очень она старалась, чтобы парня к себе расположить. Но вы же знаете, какие простодушные и чистосердечные эти деревенские парни. Где уж там приблизиться к байской жене. При одном ее виде он терялся до того, что лишался дара речи. Видя, что ничего у нее с этим парнем не получается, а любовь не проходит, страдания с каждым днем становятся все невыносимее, как у голодного при виде соблазнительных, но недоступных яств, решила она вообще избавиться от батрака, надеясь, что получится по пословице: с глаз долой — из сердца вон. Приходит она к баю и говорит:

— Этого батрака надо прогнать, очень уж он стал засматриваться на меня.

Говорят, соль съел, а в солонку плюнул. Явная клевета эта тем не менее привела бая в ярость. Позвал он

своих работников, варивших в саду виноградную патоку, и говорит:

— Завтра с утра я пришлю вам одного человека. Едва он появится, утопите его в котле с патокой.

И действительно, рано утром отправил батрака в сад. Взял парень на плечи плетеную корзину и отправился в путь. Но байская жена не выдержала и пошла вслед за ним. Собиралась, как видно, последний раз попытать счастья.

По дороге батрака окликнули его приятели, завтракавшие в чайхане:

— Раздели-ка с нами хлеб-соль, с утра и от тумачков не отказываются.

Батрак к ним присоединился, а молодая женщина, не зная об этом, ослепленная любовной страстью, бежала по дороге к саду. Едва она перешагнула калитку, как работники, выполняя приказ хозяина, схватили ее и, недолго думая, бросили в котел с кипящей патокой. А парень потом уж пришел в сад, наполнил корзину виноградом и, как ни в чем не бывало, вернулся к баю.

Отсюда и вывод: не рой яму другому, сам в нее попадешь.

Говорившего поддержал Юлдаш-сичкон:

— На этом свете, Шукруллохон, всех дел не переделаешь, поэтому не надо постоянно спешить, время от времени и с друзьями по душам побеседовать не грех. Или вы, как и Махмуд-тараша, постоянно только о подхвостнике и думаете?

Что хотел сказать этим Юлдаш-сичкон, я не понял. Однако все сидевшие дружно расхохотались. Тогда Юлдаш-сичкон и разъяснил мне смысл шутки.

— Был здесь такой человек по имени Махмуд-тараша. Вроде вас, поэтов... Сказать — чокнутый, обидеться можете... Одним словом, тонкой душевной организации, впечатлительный человек. К тому же худой, в самом деле, как щепка. И вот друзья решили: «Надо подкормить беднягу, пусть немного поправится». Пригласили его для начала на ковун сайиль*. Ну а там, как водится, плов с перепелками, арбузы и дыни, воздух — целебнее не найдешь. От одного воздуха поправишься. В самом деле, не

* Ковун сайиль — коллективная поездка за город с целью поесть дынь, развлечься, отдохнуть.

прошло и нескольких дней, как человек на глазах стал преобразаться: посвежел, щеки румянцем налились. В это время один из участников гуляния ездил в город попроведать семью, кое-что на базаре прикупить. Когда он возвратился, его спрашивают: какие, дескать, новости в нашей махалле и вообще в городе?

— Все в порядке, — отвечает тот, — одна только неприятность случилась. Бедняга Али-арбакеш* пострадал. Кто-то у его единственного ишака хвост отрезал.

Сказано это было, конечно, шутки ради. Мы посмеялись и тут же обо всем забыли. Махмуда же будто подменили. Он начал то и дело сокрушенно вздыхать, ходил печальный, задумчивый, даже есть перестал. За один-два дня опять исхудал человек, друзья встревожились:

— Послушай, Махмуд, что с тобой стряслось? Над чем ты все время думаешь, что тебя беспокоит?

— Эх вы! — осуждающе воскликнул он. — А вам, выходит, не о чем задуматься? Ведь у бедняги Али единственная надежда и опора этот ишак, и вот какой-то злодей хвост у него отрезал!.. Куда же он теперь подхвостник станет прилаживать? А без подхвостника седло не будет держаться. Немного на таком ишаке заработаешь, того и гляди, по миру пойдешь...

Вот по этой причине и страдал Махмуд, не ел, не пил ничего, худеть стал. Но он-то хоть об ослином подхвостнике печалился, а вас, Шукруллохон, какая кручина гложет? Дома, слава богу, все живы-здоровы, без денег не сидите... Или вы, как и Махмуд-тараша, о каком-нибудь подхвостнике думаете?.. — закончил свой рассказ Юлдаш-сичкон.

— Интересный вы человек! — с деланной горячностью заступился за меня Ахмад-кара, и в голосе его послышалась плохо скрытая ирония, — если бы он не думал, то и денег у него не было бы!

— Вы же знаете поэтов, уважаемый Ахмад-кара, — подал голос Мирза-сарык, — у них о деньгах и о богатстве, как у нас, грешных, забот нет, голова не болит. Ведь они — это... того... как меджнуны и дервиши — святым духом питаются...

О писателях и поэтах в тот день много было всего на-

* Арбакеш — возница.

говорено. На чужой роток, как говорится, не накинешь платок.

Одно только можно сказать тому, кто считает, что поэты одними деньгами озабочены, что заработать деньги в наше время можно и другими способами. Но ведь отличает же что-нибудь поэтов от тех, кто пивом торгует? Для того чтобы налить полкружки пива, а полкружки пены, ни великих талантов, ни великих знаний не нужно, достаточно одной ловкости рук.

Нет, все-таки хотелось бы заступиться за поэтов.

Гулял я на одной свадьбе, песни и пляски были в самом разгаре. Вот вышел юноша и запел песню о матери. «Мама ты моя...» — выводил певец и заставил-таки прослезиться многих слушателей. По обычаю у нас певцу или танцору, если понравится, конечно, кладут под тюбетейку деньги, кто сколько может. Вот и тут под тюбетейкой певца тотчас запестрели бумажки разного достоинства.

Но я-то знал истинную цену этому певцу, знал его пренебрежительное отношение к своей матери, знал, как страдает она от его небрежения, от его поздних гулянок, попок, как ждет его ночами, как он, придя в конце концов домой, вместо того чтобы попросить прощения, приласкать мать, губит ей.

После песни о матери юноша запел песню на газель Навои.

Любимую встретил и вспыхнул, сгорая в любовном огне,
Но милая холодом взгляда ответила мне.
Стерши, Навои, не гордись и ответной любви не проси,
Богатство любви ты в душе молчаливо носи.

Пел он задумчиво, но я-то, зная певца, знал, о чем он думает: чтобы опять ему денег под тюбетейку насовали, да побольше. Слушал я этого соловья, и сами собой складывались у меня стихи.

О матери сколько б ни пелось
Тепло и сердечно,
Достойна она, чтобы пелось
О ней бесконечно.

Я знаю певцов и поэтов,
Что о матери песни поют и слагают.
А сами при этом
Цены материнскому сердцу не знают.

Выводит певец перед нами
«О мама, о милая, милая мама!»,
А сам пропадает почамп,
О горе ее не заботясь нимало.

Гуляет он шумно, легко,
За стаканом стакан выпивая,
А дома бессонный огонь
Все горит и горит не мигая.

Гуляет сыночек,
Поет,
Выпивает бокал и опять наливает,
А мать в это время
Тревожится, ждет,
До рассвета очей не смыкает.

Гуляет сыночек легко и беспечно,
С друзьями смеется,
А мать его ждет...
До рассвета
Незапертой дверь остается.

Гуляет сыночек,
Все слушают песню о матери
Будто бы нежного сына.
Но ночь ожидания все длится для матери
И прибавляет седины.

Нет, если сынóвья
Любовь в чьем-то сердце таптся,
Тот этой любовью
Не будет при людях хвалиться.

А если придется —
О матери песню споет он.
Рубли и червонцы
За песню свою не возьмет он.

Держи не стакан ты в ладонях
С вином дорогого разлива,
А матери сердце в ладонях
Держи и лелей бережливо.

Веселье на той свадьбе продолжалось до самого утра. После певца вышел в круг поэт и начал читать стихи о любви. Читал он с воодушевлением, да и стихи были неплохие. Зрители опять начали совать под тюбетейку грешки, пятерки и десятки. Юноша, продолжая читать, возмущенно замахал руками: не смейте, дескать, этого целать, но гости вошли в раж. Когда поэт дочитал сти-

хотворение, слышались аплодисменты. Кто-то попросил еще почитать. Парень на это ответил:

— Кто сунул мне под тюбетейку деньги, пусть сейчас же заберет их назад! И больше не делайте этого. Я стихов за деньги не читаю.

И он высыпал из тюбетейки на стол мятые бумажки. Никто своих денег брать не стал. Тут подскочил предыдущий певец и проворно сгреб рассыпанные бумажки.

Кто-то из гостей недоуменно заметил:

— Странный народ эти поэты, настоящие дервиши. Где это видано, чтобы от денег отказывались?

— Ты слышал, он сейчас стихи о любви читал? — откликнулся на это другой из гостей. — Так вот те, у кого сердце полно любовью, ничего на свете не видят и видеть не желают. Они и в безводную пустыню ради своей любимой отправятся!

— А что, разве поэтам есть-пить не надо?

— Недавно мой младший брат напечатал в газете стихотворение. Маленькое, уместится на ладошке. И вот уж десять дней места себе от радости найти не может, не ходит, а порхает по земле. За садом ухаживать перестал, о женитьбе думать перестал, есть и то почти совсем перестал. С утра до вечера просиживает над книгами, над бумагой и все пишет, пишет, пишет... У нас есть родственники, должности хорошие занимают. «Попроси, — говорю, — они и тебя пристроят, деньги станешь немалые получать, да и от людей уважение». Так разве он слушает?! Нет, нелегко понять этих поэтов...

— В самом деле, — продолжал разговор третий. — Однажды призвал к себе хан поэта Машраба и говорит ему: «Проси, что душа пожелает, ничего для тебя не пожалею!» — «Милость, — ответил Машраб, — которой вы меня осчастливить собираетесь, лучше бедному своему народу окажите, чтобы не голодал, не терпел нужды и притеснений. А мне ничего не надо».

— А Навои! Поссорившись из-за одного только стихотворения с таким могущественным властителем, как Хусейн Байкара, он даже лишился поста визиря. Трудно понять этих поэтов!

Правы те, которые говорят, что поэзия та же влюбленность. Но поэзия — это и великая боль. Ей чужды стремление к богатству и жажда славы. Однако есть и то, что отличает поэтов от одержимых любовью. Заветная мечта

влюбленного — соединиться с возлюбленной. У поэтов же и страданий и радостей — неисчислимое множество. Боль людская — их боль, радость человеческая — их радость. Часы работы их немерены, замыслы и планы их безграничны.

— Нет, — возражает один. — Если бы человека по-этом делало лишь стремление жить заботами и печальями других, то Махмуд-тараша давно уже должен был стать поэтом.

— Так-то так, только вот знаний ему не хватает...

— Если дело в знаниях, то почему наш махаллинский мулла не поэт?

— Одних знаний маловато, надо еще по белу свету побродить, многое увидеть в этом мире. А мулла, кроме своей мечети да священных книг, ничего больше не видел и не знает.

— Тогда Али-проводник первейший кандидат в поэты. Сколько он на своем веку поездил, сколько всего повидал!..

Конечно, все это говорилось в шутку, однако в каждой шутке, как известно, содержится немалая доля правды. Особенно примечательными в этом разговоре были слова Таджибая-нишалдачи*.

— Поэзия сродни нишалде. Чтобы приготовить ее, сначала выливают в медный котел яичные белки и тщательно взбивают их тоненькими палочками. Затем в котел добавляют мыльный корень и снова все перемешивают. И вот уже четыре белка заполнили, вспенившись, весь котел. После этого в образовавшуюся пенистую массу вливают сахарный сироп и снова взбивают. Полеписья хорошенько взбить, мыльный корень на дно осядет, а вся пена на поверхность всплывет, и получится не нишалда, а бог знает что.

Точно так же и поэту все нужно: и образование, и вдохновение, и знание жизни. Одного чего-нибудь не хватит, и поэзия превратится в нишалду, у которой мыльный корень на дно осел. Ни виду у нее не будет, ни вкуса».

...Читаю дальше свой старый дневник. Вижу: «Встреча с поэтом Шейхзаде».

* Нишалда — сладкое блюдо из взбитых яичных белков с сахаром и мыльным корнем. Нишалдачи — человек, приготовляющий и продающий нишалду.

Я учился тогда в институте. Шейхзаде был тогда уже знаменитым поэтом. Я знал, что он преподает в нашем институте, но на нашем курсе он не читал, и я его лекций не слушал. Меня всегда обуревало желание поговорить с ним, но подойти к нему я боялся, что называется, не хватало духу.

Однако сам Шейхзаде-ака истолковывал, оказывается, мою робость по-другому, он говорил одному из моих друзей:

— Я слышал, что этот парень пишет стихи. Но, видно, он очень заносчив. Не то чтобы поговорить, даже и не здоровается.

Мне передали этот разговор, я обрадовался, что замечен большим поэтом, и решил при первой же встрече с ним излить все, что накопилось на душе, получить ответы на все мучившие меня вопросы.

— Что же делать, чтобы стать настоящим поэтом? — выпалил я при встрече с Шейхзаде без всяких предисловий.

— Работать, беспрерывно работать, — просто и спокойно ответил Шейхзаде.

— Нет дня, когда бы я не работал, не писал стихов. Но из них одно только и напечатали! Остальные не нравятся.

Шейхзаде взял у меня стихи и стал читать. Потом он сказал:

— Для того чтобы создать хорошее произведение, прежде всего необходимо постичь сам дух времени. Что раньше нужно было узбекскому народу? Свобода, и только свобода! Это сумели выразить Фуркат, Муками. И не в этом ли, дорогой мой, истинное их величие? В этом. Ну а теперь что нужно узбекскому народу? Вот это и надо сейчас глубоко понять. Надо постичь душу народа и суть времени.

Максим Горький считал, что на девяносто девять процентов талант — это труд. И это несомненно. Только не все понимают, в чем он, этот единственный процент таланта, заключается. Пока не поймешь этого, весь твой труд будет бесполезным.

Есть поэты, которые могут написать стихотворение в один присест. И стихи их, несмотря на такую быстроту написания, всем нравятся. Другой поэт месяцами просиживает над одним стихотворением, вкладывает в него

уйму труда и терпения, однако никого это стихотворение не в состоянии взволновать и задеть. Послушают его люди и скажут: «Поэт-то он поэт, только талантом бог человека обидел».

В чем же дело? Секрет весь заключается в том, что поэт, прежде чем взять в руки перо, должен глубоко уяснить себе: а придется ли по душе народу то, что он собирается поведать? Вот это, наверное, и должно называться талантом.

Следовательно, поэзия — это умение постигнуть дух времени, мечты и чаяния народа.

Так, значит, все стихи о любви, о весне, которые я так усердно и вдохновенно писал, всего лишь цветочки? Очень расстроили меня эти слова Шейхзаде. Выходит, надо научиться понимать душу народа. Ну и ну! Это ведь не десять-пятнадцать человек, это миллионы и миллионы! Легко ли уразуметь, чем живут сердца миллионов, что их волнует, что печалит и радует? Вот так задача!..

Случается, что и с женой, прожив вместе тридцать лет, поссоришься и не найдешь общего языка.

Есть у меня один приятель. Вечно он ноет, что никто его делами не интересуется, никакого участия в нем не принимает. Я позвонил ему как-то раз, чтобы узнать, как он живет-здравствует. И вот его о детях спрашиваю, о том, как у него дела идут, а он, вместо того, чтобы заботой на заботу ответить, за участие хоть показной признательностью воздать, раздраженно мне говорит:

— Я как раз по телевизору хороший фильм смотрю, советую и тебе посмотреть. Пока. Позвони попозже.

Услышав такой ответ, я собрался вспылить, но потом подумал: «Может, ему и в самом деле надо этот фильм посмотреть?» Успокоил себя таким образом и тут же обо всем забыл.

Прошло некоторое время, у меня снова появилось желание позвонить этому самому приятелю. Однако на этот раз он меня огорчил еще больше. Я к нему с распросами о житье-бытье, а он отвечает:

— Прости, но у меня времени сейчас нет, я машину как раз мою и шланг во дворе оставил. Так что не обессудь, а то весь двор водой затопит.

И положил трубку.

Ну, понимаю, несчастье какое у человека, дом, например, горит. Тут уж не до телефонных обменов вежливостями. Но ведь машину-то он мог и позже помыть! Трудно, что ли, было крикнуть жене или кому из детишек, чтобы этот злосчастный шланг отключили?!

Все во мне перевернулось. Может, подумалось, он за что-нибудь обижается на меня? А поскольку мы считались друзьями, то я выбрал момент и напрямик спросил его о причинах столь странного поведения.

— Да что ты! — искренне изумился он. — Какие между нами обиды могут быть? Нельзя же пустяки так близко к сердцу принимать. Я не думал даже, что все так обернется.

Да, недаром говорят: чужая душа — потемки...

Написал я стихи о любви, и так они мне самому понравились, что не удержался и поспешил к одному из друзей прямо на работу. Встретил он меня, как всегда, с распростертыми объятиями. Отдав долг традиции, расспросив о здоровье, семье, житье-бытье, я тут же начал читать свои стихи. Слушал он всегда меня с большим вниманием, делился своими мыслями об услышанном, но сегодня друга будто подменили. Я это заметил и решил про себя: «Наверное, читаю плохо!» С новым жаром принялся читать. Весь жар души в каждую строчку вкладывал. Но и на этот раз не услышал я от него обычного: «Замечательно у тебя стихотворение это получилось!» У нас с ним особенно церемониться не принято было, поэтому я и говорю ему:

— Или ты о чем-то своем думаешь, стихов моих не слушаешь, или они тебе несколько не нравятся?..

— Стихи-то я слушал, — ответил друг. — Хорошие стихи. Только, по правде признаться, мне не до стихов сейчас, в одно ухо они влетают, в другое вылетают. Знаешь, не стихи мне твои нужны сейчас, а дом. Ты на этот раз написал стихи, которые нужно в новом доме, на новоселье слушать, а у меня дома нет.

А то как-то раз, в студенческую еще пору, отнес я в редакцию стихи. Работникам отдела они как будто

понравились, и они оставили их у себя. Жду-пожду, а стихов моих не публикуют. Потом я узнал, что стихи, поправившиеся в отделе, не вызвали восторга у редактора газеты. Вот и получается: редактору не понравились стихи, одобренные работниками отдела, а читателя оставят равнодушным стихи, поправившиеся редактору. Что же в таком случае делать поэту? Во время одной из встреч с Шейхзаде я поделился с ним этими своими мыслями. И вот что сказал на это большой поэт:

— Чтобы всем нравиться, тоже надо большим мастерством обладать. Это тоже немалое искусство: убедительно сказать правду.

Долгие годы вдумывался я в смысл этих слов, в прозрачную, казалось бы, но такую трудную ясность их смысла.

В народе говорят: «Правдивое слово и родне не обнова». Да, не от великого ума выдают нам за правду первую пришедшую в голову мысль. Разве не является искусством умение так сказать правду, чтобы она пришла по душе людям?

Проявит, например, человек невоспитанность, скажем, не поздоровается с тобой, а ты ему об этом так и ляпнешь...

А он тебе ответит:

— Прежде чем учить меня, не поучиться ли тебе самому вежливому обхождению с людьми?

А другой то же самое нравоучение по-своему выскажет:

— Вчера ты на свадьбе был, и я тоже. А поздороваться мы не поздоровались... Да, допустил я промашку. Что-то от твоего нрава есть в моем характере. А сколько неприятностей мне этот характер мой доставляет. Но по-человечески все сходит как-то. Одни внимания не обращают, а другие, что поумнее, делают вид, что не замечают ничего, а вообще-то, братец, призадуматься нам с тобою есть над чем...

Поговоришь таким образом с человеком, глядишь, в нем совесть проснется.

Недаром кто-то из мудрецов сказал: ложь, ведущая к примирению, предпочтительнее правды, которая разжигает ссору.

Однажды пришел ко мне домой молодой поэт и жалуется, что не публикуют его стихи. «Вон, — говорит, —

такие писатели, как Шолохов, Расул Гамзатов, Чингиз Айтматов, всех критикуют, а их печатают, я же и мне подобные пишем только правду о нашей жизни, а нас почему-то не публикуют...» И протягивает мне свои стихи. Прочитал я их и говорю поэту:

— Я бы тоже такие стихи не напечатал. Мастерства в них нет.

— А разве правду писать — это не мастерство? Что, у нас в жизни недостатков нет?! — воскликнул он.

— Это еще не мастерство для писателя, когда он плохое плохим называет. Это и без поэта всем известно. Мастерство в том, чтобы не только обозначить зло, а с точки зрения общественного блага к нему подойти, до корней явления докопаться, собственным сердцем все пережить, а потом без надрыва, просто и искренне рассказать обо всем людям. А ваши стихи не о недостатках в жизни, а сетование. В них не гнев, а озлобленность чувствуется.

Убедительно показать правду — это и есть одно из высших проявлений писательского мастерства. Может быть, талант в этом и заключается.

Был в нашей махалле почтенный старец. Стоит ему услышать, что два человека жалуются друг на друга, как он, сокрушенно покачивая головой, говорил:

— Во всем мы сами виноваты, сами мы плохие, сами...

И уходил, ни слова больше не добавив.

Я решил у него допытаться, какое значение вкладывает он в эти слова.

— Не знаю, помнишь ты или нет, — ответил старец, — но жил когда-то в нашей махалле человек по имени Азим-кийик *. Поистине кривой был человек, он даже в волосе кривизну искал. Этот самый Азим-кийик, если обидится на кого-нибудь или досадит ему кто-нибудь, обязательно придерется к пустячному слову и устроит шумную ссору. Сидим мы как-то в чайхане и видим, входит Азим-кийик. Туча тучей. Хмуро оглядел всех и бросил какую-то язвительную реплику. Тот, кто знал его нрав, отделался молчанием. А один молодой парень возьми да и

* К и й и к — кривой, искривленный.

откликнись. Не хотел, видите ли, недотепой показаться. Азиму-кийику только того и надо было. Как понес, как понес — с такой бранью на парня!.. «Кто это там с цыплячьими мозгами собрался меня уму-разуму учить? — вскричал он. — Эй ты, из чьего подола ты выпал? То, что ты знаешь, дурак, я уж и забыл давно!» Один из тех, кто поблагоразумнее, слушал это, слушал, потом потихоньку встал и вышел из чайханы, но вскоре вернулся и как можно мягче, ласковее говорит:

— Извините, Азимджан-ака, но мне этому парню несколько слов сказать надо. Уж вы разрешите, будьте так добры!..

Азим-кийик даже поперхнулся от неожиданности.

— Ты что это людей перебиваешь? — обрушился он уже на говорившего. — Какие еще там у тебя «несколько слов»?

— Нет, нет, — ответил мудрый хитрец. — Вы его ругайте, я не против того, чтобы вы ругались. Я потому этого парня на несколько слов попросил, дорогой Азим-ака, что вы уже все ругательства употребили, всю известную миру брань выложили. Пока этот бедняга вернется, вы можете новые, свеженькие ругательства припомнить.

Услышав это, Азим-кийик махнул рукой, рассмеялся невольно и говорит:

— Вот что такое настоящий человек!

И стал нахваливать хитреца, забыл даже, что только что кипел от негодования, куда и злость у человека делась...

Да, частенько мы переоцениваем свои знания, чуть ли не мудрецами считаем себя, а других обвиняем в невежестве и грубости, в неумении поговорить по душам, не признавая за собой тех же самых грехов. Нелегкое это мастерство — понять человеческую душу, подобрать к ней надежный ключик.

Однажды с нашим почтенным Хабиби и еще пятью писателями предприняли мы поездку по республике. Приехали в один колхоз, где намечалось провести вечер поэзии. Проснулись мы очень рано, разбуженные соловьиными трелями, и решили побродить по хлопковым полям, по виноградникам. Но один из наших товарищей

никак не мог проснуться. Будить его никто не решился, поскольку мы знали довольно вспыльчивый нрав своего коллеги. Однако Хабиби все-таки подошел к спящему и стал тянуть у того из-под головы подушку.

— Что вы делаете? — раздраженно пробормотал тот. — Не мешайте мне спать!..

Но Хабиби стал мягко так, душевно его успокаивать:

— Нет, нет, спите, пожалуйста, спите! Это я книгу свою ищу, вот и подумал: может, здесь где завалилась?..

Товарищ наш поправил подушку, собираясь снова заснуть.

А Хабиби продолжает:

— Большая такая книга была, как бы она вам под бок не попала, спать помешает...

И ворошит одеяло то с одной стороны, то с другой, приподнимает его, потрясет и снова шарит. Соня не выдержал, чертыхнулся и, окончательно проснувшись, сел на постели. Все мы дружно расхохотались, а кто-то заметил с восхищением:

— Вот это мастерство!.. Всем мастерствам мастерство!

В тот день один из писателей рассказал еще об одном интересном случае.

— Настало время, когда мне надо было выдавать дочь замуж. Будущий зять всем нам пришелся по душе. Дело уже до обручения дошло, но вдруг застопорилось. Жена заявила:

— Пока я не увижу жениха, нет моего согласия...

«Ну что ж, хочет видеть — пусть смотрит», — решили мы и собрались организовать их встречу где-нибудь в подходящем месте. Встретились, жена и заявляет:

— Нет, я свою лунолицую голубку ни за что не отдам за этого парня, у него шея кривая!

Что случилось? И я видел парня, и дочь моя — нормальная шея у человека. А потом выясняется: виновата не шея бедняги, а глаза моей жены. Увидев, как поднимается ей навстречу будущий зять, почтительно и застенчиво склонив голову, она тут же решила, что у того шея кривая, и вернулась, полная решимости не отдавать дочь за калеку.

Мы вынуждены были устроить им еще одну встречу. Между тем слухи о случившемся дошли до парня, и он постарался держаться как можно прямее. Жене это снова не понравилось.

— Глаза у зятя какие-то холодные, взгляд высокомерный, от таких людей добра не жди, — заявила она.

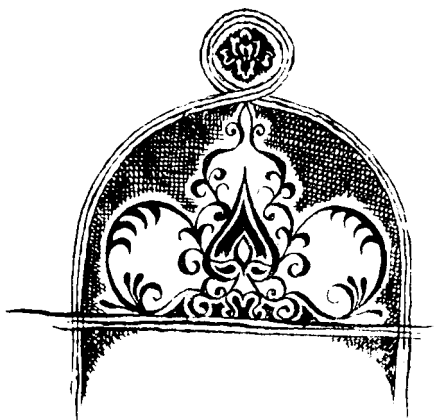
Ну что ты будешь делать с такой невозможной женщиной?!

Кто-то из слушавших этот рассказ заметил:

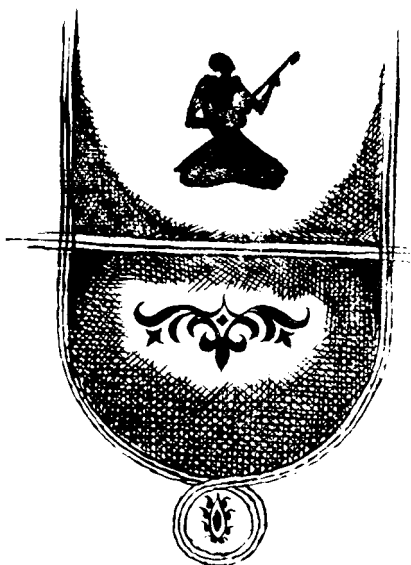
— В людях разбираться тоже большое искусство. Случается, что мы, писатели, создадим героя, а он у нас с кривой шеей выходит.

Еще кто-то высказал свое мнение о работе писателя:

— Из любого явления, встреченного в жизни, можно сделать разные заключения и выводы. Не все одинаково знают и понимают жизнь, тем более что она так богата. Жизнь похожа на старинную книгу, где отдельные буквы и слова стерлись, выцвели до неразличимости. Один начнет кропотливо слово со словом сопоставлять, и, глядишь, доберется до верной сути, а другой вообще ничего не прочтет...



...И СНЕГ ГОРЕТЬ
БУДЕТ





Нет, тога не одмагелль, сердце-
лучше фесю.
Нет, коварту не тарагося
с сердобекки и умом!



какую из болезней вам труднее всего распознать? — спросили у лекаря.

— Ко мне здоровые люди никогда не приходят, — ответил лекарь. — А из тех, кто приходит, один жалуется на желудок, другой на глаза, третий на уши. Так что мне и распознавать ничего не приходится. Но есть все же в мире один недуг, который труднее всего обнаружить. Это распознать, что у человека таится в душе.

Больных врачует лекарь, а душевную боль дано распознавать поэтам.

Так ответил людям сам лекарь. Услышав этот ответ, люди обратились к поэту:

— Какое из человеческих страданий самое тяжелое: от внезапной кончины близкого, разлука с любимой, заботы о хлебе насущном, несправедливость или тяготы непосильного труда?

— Счастье и несчастье, смерть и рождение, радость и горе, смех и плач — все это есть в жизни, и все мы с этим знакомы, — ответил поэт. — Самое трудное — найти путь к человеческому сердцу, разбудить в нем ненависть к злу и стремление к добру.

— А как находят путь к человеческому сердцу?

Шла Великая Отечественная война. В эти годы я, только еще начинающий поэт, активно выступал на всех организуемых Союзом писателей республики литературных вечерах, обсуждениях новых поэтических сборников.

Но еще больше меня влекло в Союз желание увидеть там и послушать больших, знаменитых прозаиков и поэтов.

После первой и единственной встречи с Гафуром Гулямом я никак не мог набраться храбрости прийти к нему еще раз. И вот я встретил его в том же Союзе писателей на обсуждении нового сборника стихов одного поэта. Гафур Гулям сидел рядом с Айбеком. Во время обсуждения они шепотом о чем-то переговаривались, писали записки беспрестанно дымившему у окна папиросами Шейхзаде и заставляли того смеяться.

О сборнике между тем высказывались самые разные мнения. Кто-то предложил включить в него побольше стихов о Родине, верности, героизме, поскольку шла война. Говорилось и о том, что стихи о любви впечатляют, заставляют волноваться, но слишком они порой интимны.

Вот еще кто-то взял слово.

— Любовь, смерть, рождение, — сказал выступающий, — все это законы жизни. Это то, что каждый день в ней происходит. Война войною, но ведь люди в это время не оскопленными живут. Разве женщинам не нужны мужья, а мужчинам жены?! Во время войны, конечно, чаще умирают, но кто сказал, что женщины в это время не рожают? Без чувства любви человек не пригоден ни для боя, ни для труда. Стихи поэта о любви неплохи. Их надо издать сборником, а отдельные недостатки можно устранить вместе с редактором в процессе подготовки рукописи к изданию.

Среди сидящих в зале поднялся некто Тулкуни и, попросив слова, направился к трибуне, зажав под мышкой папку внушительных размеров. Не удостоив никого даже взглядом, торжественно водрузил он на нос очки. Потом достал из папки несколько журналов, газет и аккуратно разложил их на трибуне. Между ними положил стопку бумаги. Присутствующие начали недоуменно перешептываться. Однако он бесстрастно, никакого внимания на эти шепотки не обращая, смотрел в зал. Когда установилась полная тишина, оратор заговорил распевным речитативом:

— Я не поэт и не критик, я здесь хочу сказать об идейной и политической стороне стихов. Если уж откровенно говорить, то и книг я читаю мало, но, несмотря на это, удивляюсь, пробегая порою некоторые стихи, публикуемые нашими газетами и журналами.

Прочел недавно я стихотворение. Называется оно «Красавица Аму». Должен заявить: политически незрелое стихотворение. И незрелость его в том, что я так до конца и не мог уяснить, о какой Амударье в нем идет речь. Да, Амударья одна. Однако протекает она, как известно, и по территории капиталистических стран, и по нашему Советскому Узбекистану. В стихотворении же неясно, о какой Амударье толкует поэт — капиталистической или советской? С политической точки зрения правильным это не назовешь.

Теперь я хотел бы сказать пару слов по поводу стихов о любви. Некоторые поэты дают указания: так надо любить, а так не надо любить. И это тоже неправильно. Ведь мы не при царском режиме, а в советское время живем. У нас и на этот счет свобода: хочешь, люби, хочешь, не люби. Пусть каждый любит так, как умеет и желает. Обязательно ли указывать нам, как мы должны любить?!

С этими словами он победоносно сдернул с носа очки, собрал свои бумаги, газеты и журналы в папку, сунул ее под мышку и важно спустился в зал. Между тем в зале кто-то даже решил похлопать «оратору». Но большинство хранило тягостное молчание. И вдруг снова покатилося по рядам перешептывание. Кто-то рванулся было к трибуне с опровергающей речью, но сосед остановил его.

— Не трать по-пустому слов, я этого человека очень даже хорошо знаю. Он считает, что никто лучше его в политике не разбирается и что именно он должен учить всех политической бдительности.

Как узнал я позже, человек этот не разрешал, чтобы в его доме звучали карнай и сурнай. Классические мелодии узбекского народа он убежденно считал музыкой феодально-ханской эпохи. Даже когда женил сына и вынужден был пригласить на свадьбу певцов и музыкантов, то, преследуя все ту же классовую, политическую бдительность, наказал им исполнять только песни о труде, сборе хлопка и высоких урожаях.

Один из певцов пришел позже других, да и права хозяина не знал, а потому запел классическую мелодию.

Хозяин тут же попытался остановить певца, но кто-то из гостей авторитетно заявил:

— Да, это классическая мелодия, но в обработке со-

ветского композитора, который убрал из нее все феодально-ханские нотки.

Успокоенный хозяин разрешил продолжать исполнение «переработанной» классики.

Отец у него был безнадежно болен. И вот, поняв, что старик скоро умрет, он нарочно уехал в командировку, чтобы избежать всяких хлопот с церемонией погребения и поминок, заведенной еще отцами и дедами, существующей издревле, а потому, по его мнению, тоже феодально-байской. Вернулся он лишь после того, как справили семь дней*.

После этого оратора слово взял редактор издательства.

— Если подойти к сборнику с точки зрения выступавших до меня товарищей, то в нем, конечно, мало стихотворений, написанных на тему современности, на злобу дня. Остальные же стихотворения художественно несовершенны. В газетах их опубликовать еще можно...

И вдруг, сверкая огромными своими глазами, встал с места Айбек.

— Это ошибка! Это ошибка! — чуть ли не закричал он.

Председательствовавший на обсуждении жестом пригласил его продолжать.

— И откуда пошло такое убеждение, — в голосе Айбека звучало искреннее изумление и даже возмущение, — что художественно несовершенные произведения можно и нужно печатать в газетах?! Разве тот, кто читает газеты, не читает книг? Или у нас два вида читателей? Обсуждаемые стихи в художественном отношении весьма незрелы. Над ними надо еще работать и работать. Одним декларированием таких высоких понятий, как «Родина», «верность», «преданность», «героизм», поэзию не делают. Иногда солдаты идут в бой под музыку. А ведь в музыке той всех этих слов нет. Она сильна тем, что действует на душу, на сердце солдата, воодушевляет его, пробуждает в нем самые лучшие, самые благородные чувства, мобилизует, делает щедрым и решительным в действиях. Вот и стихи такими же должны быть.

В некоторых наших стихах больше многословных и декларативных выкриков о душевной щедрости, любви и

* По мусульманским обрядам поминают не через девять, а через семь дней.

мужестве, чем этих высоких и благородных чувств. Я прочитаю вам одно четверостишие из фольклорного наследия узбекского народа:

В Карши ложится новый снег на старый снег слоями,
Джигиты, не ищите новых дев, когда возлюбленная с вами.
Любовь свою храните в чистоте, ее не надо трогать,
Смешав в одном ведре, испортите и мед, испортите и деготь.

Вот всего лишь четыре строки о любви, а как много сказано. Каждый, кто прочитает это стихотворение, задумается над своей жизнью, над такими чувствами, как верность и преданность.

Слушая Айбека, я вспомнил стихотворение о верности женщины, проводившей мужа на фронт.

Не удивляйся верности моей
И стойкости хвалу не воздавай.
Разлука длится много-много дней —
Давно мой муж покинул отчий край.

Ночами плачу, мучаюсь, скорблю,
Разлука длится тысячу ночей.
Но он мой муж, и я его люблю,
Секрет лишь в этом верности моей.

Говорил в тот день Айбек и о силе воздействия стихотворения на человека.

— Читаешь некоторые стихи о любви, — заметил он, — и наслаждения получаешь меньше, чем от простого созерцания женщины. Когда я читаю стихи, в которых пестрят черные брови, косы до коленей и другие неизменные атрибуты женской красоты, перед глазами почему-то обязательно оживает облик жившей в нашей махалле горбуньи, приземистой, большеголовой, косоглазой. Впечатляющая сила стиха не во внешней изобретательности, не в живописании зримых примет красоты.

Когда между людьми заходит разговор о красоте, то некоторые склонны считать настоящими красавицами только девушек, похожих на Лейли и Ширин. Но утверждающие это ни самих красавиц, так восхваляемых ими, ни даже портретов их не видели. И тем не менее легендарные героини стали вечным символом истинной женской красоты.

«Красу и прелесть твою портит дурной нрав», — говорят у нас в народе. Так вот, подлинная красота внутри че-

ловека, в его духовном мире, в его человечности. В том и заключается величие Навои, что он не только понял это, но и с огромной впечатляющей силой сумел выразить в своих поэтических образах. Он разгадал секреты красоты, проник в тайны любви.

Стоит бросить даже мимолетный взгляд на погребальную процессию, как в душе обязательно произойдут неприметные, но важные перемены. Но вот читаешь стихи о смерти, и они оставляют тебя равнодушным. Читаешь стихи о весне, а действуют они так же, как раскрашенные бумажные цветы. Будто не в благоухающий сад вошел, а продираешься сквозь сухие заросли колючки.

Величавые громады гор, величественные волны моря редко кого не приводят в восхищение, мало людей, которые не замирают перед ними, как перед чудом, с трудом сдерживая трепетный вздох. Чувство неиспытанного восторга переполняет нас перед этим воплощением беспредельного могущества природы. Ничего подобного, однако, не испытываем мы при чтении стихов о тех же самых горах.

Шейхзаде рассмеялся и бросил с места шутливую реплику.

— «То, что дома говорится, на базаре не годится», — говаривают в народе.

— Что же, верно! Чтобы произведение понравилось читателю, оно должно запасть ему в душу, взволновать. Недавно опубликован мой роман «Священная кровь». Работу над ним я начал пятнадцать лет назад. Исписал пять-шесть тетрадей и остановился, дальше нужные слова никак не шли... Бросил. То ли опыта еще было маловато, то ли материала собрал недостаточно. А то, что написал, ни меня самого, ни других, кому читал, не волновало, не щекотало, ибо...

На этом месте его перебил Гафур Гулям.

— Извини меня! Очень хорошо ты сказал сейчас. Вспомнился мне один случай со щекоткой. В зале и молодые писатели сидят. Если они узнают про тот случай, вреда это им не принесет. Однако сначала я расскажу, как падишах внезапно влюбился...

...Закрыв падишах глаза и невзначай задремал. И привиделась ему юная красавица. Да, человек может вызвать в воображении то, чего очень желает. Итак, привиделась повелителю красавица: брови — шелк, глаза —

звезды, стан — тростинка под ветром, лик — ясный месяц. Одним словом, не девушка, а мечта души! Прекраснее ее и найти во всем мире невозможно. И возжелал ее падишах разыскать, крикнул на весь дворец служителям:

— Разыщите мне во что бы то ни стало красавицу, которая только что привиделась мне во сне и покорила сердце мое!

Сотни красавиц, одна другой прелестнее, приводили к повелителю, но ни одна из них даже в сравнение не шла с той, что приснилась. Лицом понравится, станом не подходит... Тогда один из подданных попросил:

— О повелитель вселенной! Может быть, вы нам назовете хотя бы отдельные приметы той красавицы, что так внезапно покорила ваше царственное сердце? Может быть, тогда нам легче будет ее отыскать?..

Падишах без труда обрисовал внешний вид девушки, но, когда дошел до того, что же в красавице его особенно взволновало, чем она, воображаемая, душу его щекочет, замолчал, не в силах подобрать нужных слов. Бился, бился и говорит гневно:

— Я вам не поэт! Вот найдите двух-трех поэтов, да сделайте так, чтобы они в сердце моем побывали, тогда они, может быть, сумеют словами описать красавицу, о которой я мечтаю!

Иногда и нам, поэтам, приходят в голову очень интересные мысли. Что-нибудь увиденное в жизни приносит нам особое наслаждение, заставляет взволнованно биться сердце. Но стоит нам попытаться словами выразить эти чувства, как выясняется, что мы не способны это сделать. Так и остаются в нас и чувства, которые взволновали душу, и образы, которые поразили ее. Так же, как никто, кроме самого падишаха, не мог представить красавицу, покорившую его сердце, так и другим не дано понять то, что мы сами не в состоянии выразить. Как сказал Айбек, потому, что никого это не задевает за живое, не щекочет. Ну а что же может тревожить и щекотать?

Недавно устроили друзья в чайхане обычное застолье. Угостившись на славу, слово за слово подняли такой скандал, что вот-вот друг друга за воротник схватят.

— Что случилось? — спрашиваю я у сидевших рядом.

— Да вот, один другого задел словом за то место, где щекотно, — последовал ответ.

Вы слышите? Словом, всего лишь единственным словом! Только услышал я этот ответ, ни о чем больше расспрашивать не стал. Все и без расспросов стало ясно. Значит, такое слово сказано было, что за сердце задело. Но для того, чтобы сказать его, надо очень хорошо знать человека, всю его, так сказать, подноготную, все сильные и слабые стороны.

Щелчок, говорят, хуже удара. Но еще хуже, нестерпимее щекотка. Тебя только кончиком пальца касаются или вообще соломинкой, а ты уж из себя выходишь. Надо только знать, где коснуться.

По-моему, для того чтобы произведение получилось удачным, надо знать, какой части души человека оно должно коснуться. Пусть это прикосновение будет коротким, мгновенным, но оно должно разбудить в человеке все самые сокровенные чувства.

Приходится иногда один и тот же анекдот от двух разных человек слышать. Один так рассказывает, что живот надорвешь, а другой примется рассказывать, сидишь и ухом не ведешь. Потому что чувств наших рассказчик не задевает, душу не щекочет. Секрет этого вовсе не в какой-то особенной мимике рассказывающего, не в интонациях его голоса, а в том, что он умеет каждому слову свое место определить, знает, с чего начать мысль и чем ее завершить. Выразительность — вот в чем соль!

У каждой мелодии есть низкие и высокие ноты. У каждой ноты свое звучание, свои оттенки. Ноты стихов — это слова. У каждого слова свой дух, свое звучание. Так, например, тот, кто носит траур, и тот, кто приходит, чтобы сообщить радостную весть, люди разные и по-разному произносят слова. Если один говорит с подъемом, торопливо, то другому каждое слово дается с болью, сквозь слезы. Точно так же у каждого стихотворения слова должны соответствовать его содержанию и настроению.

Так же, как нельзя исполнить «Поздравление со свадьбой» на мотив «Ушшак»*, точно так же вызовет смех, если в песенку «Не квакай» мы подставим слова «Рыдания» на классическую узбекскую мелодию.

Народом называют совокупность людей, имеющих свою родину, свой язык. Если у народа есть язык, то трудно представить поэта, который не имел бы рта и

* Ушшак — название классической народной мелодии.

губ для того, чтобы этим языком пользоваться. Если мысли твои задевают людей за сердце, щекочат им душу, только тогда они могут доставить истинное наслаждение.

Все сидящие в зале с большим вниманием и удовольствием слушали выступление Гафура Гуляма. Оно и в самом деле задевало за душу, тревожило сердце. Поэт был еще и хорошим оратором.

Ораторское искусство... В чем оно заключается? В хорошо поставленном голосе, отработанной дикции, заученных интонациях? Или в умении ярко расцветить свою речь красивыми словами, затейливыми выражениями? Или в весомости, содержательности каждого слова, которое падает с трибуны в зал?

Секрет ораторского мастерства Гафура Гуляма заключался в том, что он постоянно и чутко чувствовал настроения аудитории, степень интереса слушателей. «Умная речь» Гафура-ака заключалась не столько в использовании философских понятий и терминов. Разумеется, когда это надо было, он прибегал к ним, но истинный блеск его выступлениям придавали выразительные афоризмы и крылатые слова, обиходная речь, которой он пользовался с тактом и мастерством. Часто прибегал он и к шутке, к «язвительным остротам», в сердцевине которых лежало, однако, серьезное и бьющее в цель содержание. Выступление для него никогда не было самоцелью, а уж тем более средством продемонстрировать свою начитанность, эрудицию и знание жизни. Это может показаться чудом, но Гафур Гулям умел и без слов внушить слушателям нужное, заразить их своим настроением и собственными чувствами. Способность эта не раз удивляла многих. Выступая, он помнил множество народных присловий, пословиц и поговорок, анекдотов, наиболее удачных выражений из состязаний остроловов и, когда надо, так удачно вставлял острое словечко в свою речь, что зал сотрясался от дружного хохота. Но тотчас он становился серьезным, и речь его начинала звучать весомо и мудро, каждое слово заставляло задуматься, будило в душе сложные чувства. Для того чтобы нужная мысль как можно прочнее вошла в сознание слушателей, навсегда запала им в память, он умел давать залу передышку, разрядку, тогда-то и сыпались остроты и анекдоты, а потом исподволь переключал слушателей на волну серьезного разговора.

По поводу стихов в обсуждаемом сборнике, написан-

ных традиционным размером аруз*, Гафур Гулям привел пример, рассмешивший всех присутствующих.

— Прочитаны здесь были и стихи, написанные размером аруз, — начал он. — Я не против того, чтобы такие стихи писались. Только не окажутся ли стихи на арузе тем письмом, что вручили мальчику-казаху. Надо, чтобы стихи были понятны всем.

Как-то один мулла, не прошедший полного курса обучения в медресе, написал своему приятелю письмо, написав его, где надо и не надо, арабскими и персидскими словами, а передал через своего шагирда**-казаха. Приятель получил письмо и стал читать его вслух. Паренек-казах, не понимая ни одного арабского и персидского слова, решил, что в письме сообщается о смерти кого-то из близких, по которому получивший письмо читает заупокойную молитву из Корана. «А потому он пал на колени, молитвенно сложил руки и стал класть скорбные поклоны. Когда письмо было дочитано, он встал, пожалел «покойному» царствия небесного и ушел.

Да, стихи надо писать языком доступным и понятным. Я не стану распространяться о богатстве, красоте и выразительности узбекского языка, потому что не скажу больше и лучше того, чем сказано в созданном Навои более пятисот лет назад произведении «Мухокаматул-лугатайн». Достаточно и того, если каждый из нас уяснит смысл сказанного Навои и глубоко оценит его замечательные слова.

В тот день я услышал о стихах много такого, чего раньше слышать не приходилось. Много касалось и меня лично, хотя мне, конечно, адресовано не было. Я ведь писал стихи, можно сказать, вслепую, как говорят узбеки, — считал пельмени сырыми. Многих слова Гафура Гуляма заделли за живое, многих пощекотали, заставили задуматься.

Выступали в тот день также Хамид Алимджан и Шейхзаде.

— Нельзя не одобрить намерений, которые двигали пером поэта, — сказал Шейхзаде, — его замысел. Однако от того, что мы будем повторять «халва», «халва», во рту сладко не станет. Для того же, чтобы приготовить на-

* Аруз — метрическая система стихосложения, основанная на определенном чередовании долгих и кратких слогов, широко применявшаяся в узбекской классической поэзии.

** Шагирд — ученик, последователь.

стоящую халву, нужен жар и труд. Стихам, которые мы сегодня слушали, по-моему, именно этого и недостает. Дехкане-хлопкоробы говорят: «Брошенное тобою в землю семя само халатом не сделается и плечи твои не укроет. Пусть земля будет щедрой, пусть воды будет вволю, но если не напоит его своими жаркими лучами летнее солнце, то взойдет семя немощным и расти будет чахлым». Вот мне и кажется, что и этим стихам не хватает нашего знойного щедрого солнца. Им жара, чистого сияния недостает. А жар возникает лишь от столкновения мыслей, глубоких, сильных, оригинальных.

Часто можно слышать от людей: грудь солнцем наполнилась, чувствую себя легко и привольно. И в стихах это должно быть, они должны излучать свет и тепло.

Признаться, я сейчас не хотел выступать. И попросил выступить Хамида Алимджана, но он ответил: «Не сейчас, попозже... Сначала ты выступи». Значит, ему есть что сказать, но он пока обдумывает, с чего начать и как сказать. В стихах, которые мы обсуждаем сегодня, этого не чувствуется. Есть в них и глубокие мысли, и свежие чувства, но нет ощущения, что они вовремя, уверенно, без суеты сказаны. В результате они похожи на работу торопливого земледельца.

Одному дехканину позарез нужны были деньги. Он повез продавать на базар зеленые и твердые как камень груши. Никто их не берет. Он уж и подешевле стал просить — все равно покупатели обходят его стороной. Начал дехканин свои груши хвалить:

— Им, этим грушам, денька два и полежать-то надо, тогда они соком нальются, порозовеют, медовыми станут.

— Если им всего лишь два дня требуется, чтобы дозреть, почему же ты сам не дал им полежать? — спрашивают покупатели.

— Говорят, плохая жена лишь с приходом гостей начинает дрова рубить.

Каждому делу — свой час. Пока не созрела мысль, пока чувство не начало перехлестывать через край, спешить со стихами, а тем более издавать их, выносить на читательский суд не следует.

Не следует дуть на дрова, пока они как следует не разгорелись. Проку от этого никакого, только золой и сажей все вокруг запорошишь. И в котел зола попадет, плов испортит.

Если уложить да разжечь как следует, говорят, и снег гореть будет. Поэтому с укладкой дров спешить не надо. Если дрова просохнут, раскалятся, достаточно лишь слегка дунуть на них, чтобы они занялись веселым и жарким пламенем.

В тот день Шейхзаде говорил много, интересно, поучительно, но память, к сожалению, не все сохранила, а кое-что я пропустил, прослушал.

Как говорят у нас в народе: пришла женщина на поминки, а жалуется на свою болезнь. Так и я до того задумался над словами поэта, что уже и его самого слушать перестал.

При жизни Хамида Алимджана я часто видел его, но побеседовать с ним ни разу не довелось. Не могу даже припомнить, чтобы мы когда-нибудь с ним поздоровались за руку. Как поэта я любил и чтил его, но на личную беседу смелости не хватало. Он мне казался личностью загадочной, таинственной. Каким бы возбужденным ни был человек, при одном только взгляде на Хамида Алимджана приходило успокоение, овладевало состояние какой-то сосредоточенной задумчивости. Он не походил на других ни внешним видом, ни поступками. Сколько раз я шел к нему, исполненный решимости взять да и представиться без обиняков, но, едва завидев Хамида Алимджана, я робел, от решительности не оставалось и следа, и я старался незаметно отойти в сторонку. Зато я не спускал с него глаз во время разных собраний и совещаний. Большие и ясные глаза его постоянно горели огнем какого-то неведомого мне возбуждения. Он был твердым, решительным, но решительность эту смягчала неизменная улыбка, мудрая, мягкая, душевная. Я не помню ни одного случая, чтобы взгляд его был рассеянным, отсутствующим. Взгляд этот как бы и окружающих подтягивал и дисциплинировал. Во взгляде Хамида Алимджана была какая-то притягательная сила, внушительная основательность, весомость. Говорил он ровно, не повышая голоса и в обычной беседе, и выступая с трибуны, и когда читал стихи. Каждое слово произносилось к месту; речь его была так же приятна и притягательна, как и голос.

В тот день Хамид Алимджан говорил о неисчислимых

бедствиях, которые обрушила на головы народов война. Говорил ровно, внешне спокойно, без выкриков, митингового надрыва. Но каждое его слово будто развязывало мучительный узел в душе слушавших, лица у сидящих в зале прояснялись, загорались воодушевлением и оптимизмом.

— Я сейчас ни с кем не собираюсь вступать в спор, — говорил Хамид Алимджан. — Если беспрерывно поглощать блюдо за блюдом, то быстро наступит пресыщение, когда перестаешь различать и вкус пищи, не говоря уж о наслаждении. Сегодня было сказано много интересного и умного о стихах, о поэзии вообще. Переварить бы нам все сказанное, и то дело большое и полезное, это и сил бы нам прибавило, и уверенности для новой работы. Сегодня мне хотелось бы высказать несколько мыслей о произведениях на современные темы и долговечности этих произведений. Все мы хорошо знаем, что народ наш живет сейчас впроголодь, он, как говорится, полугол и полубос. Трудиться приходится много и тяжело, забот с каждым днем прибавляется. Люди страдают от разлуки с близкими: отцами, братьями, мужьями и сыновьями, живут в настоящей тревоге за них. И, несмотря на это, в летний зной и суровые зимние морозы сражаются, возводят ГЭС, строят каналы. Но строят не как попало, а с надеждой на светлое будущее, строят на века.

И наши произведения на современные темы не должны быть однодневными. Создавать их надо так, чтобы они обогатили духовную сокровищницу будущих поколений, чтобы им суждена была долгая и славная жизнь, даровано бессмертие.

Во многих стихах, которые пишутся сегодня, бойцы наши сравниваются с легендарным Алпамышем, а строители каналов — с Фархадом. Я не против таких сравнений. Другое заставляет задуматься. Почему героизм, преданность Родине обязательно ассоциируются у нас с образами Алпамыша и Фархада? Ведь поэма Навои «Фархад и Ширин», народный эпос «Алпамыш» были созданы несколько столетий тому назад! И, несмотря на это, образы их служат нам и сегодня примером, образцом для подражания, продолжают жить в сердце народном. А ведь произведения эти и в свое время считались современными! В чем тут секрет?

Конечно, крупные произведения в короткий срок не



создаются. Но уж лучше публиковать отдельные строки из незавершенного, но художественно зрелого произведения, нежели издавать посредственные, наспех сработанные романы и поэмы. В таких случаях по силе воздействия на читателя и по значимости отрывков может быть выше и предпочтительнее, нежели монументальные скороспелки, порожденные конъюнктурой.

Вспомните стихотворение Лермонтова «Бородино». По собственному признанию Льва Толстого, это маленькое произведение послужило для него толчком к написанию эпопеи «Война и мир». Вот какова может быть сила воздействия, эмоциональная и художественная мощь единственного стихотворения!

Недавно в газете было опубликовано стихотворение «К народу моему». Кто-то из сидевших рядом со мной, едва взглянул на заглавие этого стихотворения, взволнованно обратился ко мне:

— Мулла Абдухамид, а давай-ка послушаем стихи!..

Читаю и краем глаза вижу: у моего собеседника от его волнения постепенно и следа не осталось. Ни искорки! Почему это произошло? Об этом он сам хорошо сказал:

— Есть ли в мире более прекрасные и дорогие для человека слова, чем «Родина», «народ»?! Когда произносишь «народ мой», «Отчизна моя», все существо твое охватывает волнение, непередаваемый, священный трепет.

Как-то довелось мне побывать в Турции. Много я бродил там по городу, но куда бы ни пошел, всюду неизменно таскался за мной один человек. Наконец он оставил меня и, волнуясь, заговорил:

— Увидел я у вас на голове кокандскую тюбетейку и решил, что вы узбек, поэтому несколько дней и хожу за вами по пятам. Я тоже узбек. Очень истосковался я по родной речи. Прошу вас, скажите хоть несколько слов. У вас, конечно, нет с собою горсти ферганской земли, но уж, будьте так добры, подарите мне на память вашу кокандскую тюбетейку. Или разрешите хотя бы в руках ее подержать, насладиться ароматом родных краев, которые она хранит. Ведь шелковые нити, которыми она расшита, получены там. Они вобрали в себя дыхание юных вышивальщиц, хранят тепло волшебных рук мастериц... Как соскучился я по всему этому!..

Едва проговорил он эти слова, как из глаз его покапались слезы.

Когда я произношу слово «Родина», Абдухамид, мне видится райский сад, деревья которого клонят к земле свои ветви от сказочного изобилия плодов. Когда говорю «народ», то думаю о народе-труженике, который эту землю холил и нежил, украшал на радость и благо человека, слышу ликующие мелодии на шумных многолюдных свадьбах, вижу искусных дедов наших, что возвели такие жемчужины, как Самарканд и Бухара... Вот какой смысл заложен в двух этих коротких словах, вот такие чувства вызывают у людей слова «Родина» и «народ»! В стихотворении же, громко названном «Народу моему», поэт не сумел выразить и крупницы этих чувств.

Что нужно, чтобы произведение было и современным и вечным в одно и то же время? Мне думается, оно прежде всего должно выражать самые заветные и благородные чувства людей, самые возвышенные мечты. Человек страдает, борется, трудится. Но жизнь из одной лишь борьбы, из одного труда не состоит. Люди еще и мыслят, переживают. Узбекский народ тысячелетиями выращивает хлопок. Но что думает человек, что его волнует? Ведь в процессе мышления возникают противоречия и конфликты. Между передовым и отсталым, между душевностью и завистью, между благородством и изменностью, между новым и старым, между прекрасным и безобразным. Кого-то охватывает гнев, к кому-то приходит окрыляющее чувство радости. Настроение человека подвержено постоянным изменениям. В человеке сталкиваются возвышенные чувства с честолюбием, гордыней. И если в душе человека одерживают победу чувства светлые и добрые, возвышенные и благородные, то разве это не есть наиболее яркое отражение современности?

В этот день Хамид Алимджан сказал немало проникновенных слов по поводу стихов о войне, о хлопке, о Родине, о труде. Но с горечью говорил он о стихотворных однодневках, громкозвучных и пустых, лишенных жара души и живого человеческого чувства. Много замечательных мыслей высказал наш большой поэт о том, что надо

понимать под современностью, какие требования предъявляет эта тема ко всем, кто борется за ее художественное воплощение.

С двумя поэтами, на стихи которых ссылался в тот день Хамид Алимджан, я позже познакомился. Псевдоним одного из них был Азали — Вечный, а другого Мазали — Вкусный. Псевдонимы, как видим, довольно прозрачны, не без претензий. Один, когда брал псевдоним, надеялся на бессмертие своих творений, а другой на то, что будет постоянно услаждать ими взыскательного читателя. Этими своими именами они очень походили друг на друга, зато характерами и творчеством разнились очень сильно, как бы два разных мира. Азали постоянно писал о счастье, о наслаждении в труде, о том, как прекрасна жизнь. Это был человек, старавшийся никому не причинить беспокойства. Даже видя в человеке недостатки, он не решался о них сказать. В его стихах не было ни конфликтов, ни противоречий, ничего отрицательного. Это был, так сказать, благополучный поэт, глядевший на мир через розовые очки. Но сам он был далеко не благополучного вида: худой, бледный, болезненный.

Мазали, напротив, с не меньшим душевным пылом бичевал разные недостатки, любил писать о несчастье, о горе, не скрывал того, как тяжек порою бывает труд. А сам же между тем был цветущим, никогда не унывающим здоровяком, розовощеким, с задорным блеском в глазах. Вокруг него постоянно царил оживление, слышались шутки и смех.

Бедняга Азали неожиданно слег, у него обнаружилась астма, причем в тяжелой, запущенной форме. Я его навестил, мы побеседовали, насколько это было возможно и разрешалось больному. Улучив момент, я спросил у него:

— В твоём творчестве не было ни горя, ни печалей, ни трудностей, ни страданий. Откуда она прицепилась к тебе... эта проклятая астма?

— Эх, приятель, — ответил он, грустно улыбнувшись. — Я ведь потому и писал о радостях, стремился, чтобы люди не думали о страданиях, что страдания эти в себе носил. И вот они меня теперь гложут.

В самом деле, он постоянно был озабочен тем, чтобы люди были удачливы, счастливы и радостны, восхищал-

ся ими. А вот им и в голову не приходило, что сам он больше их нуждается в одобрении и сочувствии, что жизнь его вовсе не так светла и безоблачна, как выглядит в стихах. Теперь он жаловался мне.

— Недавно я сдал в издательство новый сборник стихов. Кто-то написал на него рецензию, суть которой сводилась к тому, что автору чужды страдания, любовь, вообще переживания. По этой рецензии больше половины стихотворений из моего сборника выбросили. И вот даже за этот урезанный сборник я до сих пор гонорар получить не могу. Шесть месяцев меня водят за нос всякими отговорками: то план пересматривается, то уточняется, то утверждается... Что же это такое, скажи на милость?!

— Наверное, начитались твоих стихов о беззаботной жизни, о радости, счастье и решили, что и сам поэт такой же жизнью живет и потому денег ему не нужно, — грустно пошутил я.

— Наверное, — согласился он. — Чужая боль ни у кого не болит... Я бы не торопил их с этими деньгами, будь они прокляты, да вот младшего сына женить надо. А ты ведь знаешь наши обычаи и традиции, знаешь, в какую копеечку влетает даже самая скромная свадьба... Я было предложил тихо и мирно свести молодых, пусть живут в любви и согласии, которых, между прочим, от этих пиров на весь мир никогда не прибавлялось и не прибавится. Так отец невесты на дыбы встал. «Единственную дочь выдаю! — горячится. — Что, я не могу ей по-человечески свадьбу справить, чтоб не хуже, чем у других? Что же я, одену ее в какое-никакое платьишко, соберу вещички в узел да выпровожу за порог?»

Я и так и эдак его уговаривал, все впусую. Ну, скажи, когда мы от этой замшелой старины избавимся?! Ведь чего только свадьба не требует: мука и рис — мешками, несколько баранов... К тому же всех надо одарить одеждой и обувью, да не простой, модной и дорогой. А сверх того, мой сын после загса должен еще в ресторане угостить друзей и подруг. Тоже человек сорок-пятьдесят наберется. Кто все это придумал? Мы никак со старыми обрядами не разделаемся, а уже новых, не менее вредных, напридумывали. Мало ли на белом свете обрядов и традиций, неужели их все за новые почитать и тут же перенимать?! В старину, чтобы официально оформить

брачный договор, надо было уплатить пять рублей. Теперь же загс вместе с новомодным этим банкетом не меньше чем в 500 рублей влетает. И это еще не сама свадьба, это еще цветики, как говорится, а ягодки впереди.

До свадьбы я еще должен позаботиться о том, чтобы сыну дом купить, чтобы было ему куда привести молодую жену. А что значит обзавестись жильем, тебе, думаю, объяснять не надо. Придут из горсовета, обследуют жилищные условия. Но что толку из этого обследования, если в черте города места для постройки нет. Тянется потом волокита месяцами, а то и годами. О квартире и говорить не приходится. Одно меня только удивляет: столько строят и строят. Кто, интересно, во всех этих многоэтажных громадинах, которые как грибы после дождя растут поселяется?

Знаешь, дружище, вся эта волокита и порождает вятничество. И мне, что ли, раскошелиться на взятку, чтобы жилье заполучить? Послушай, когда всему этому конец будет?!

Мой племянник председателем колхоза работает. Думал по государственной цене у него купить свежих фруктов, овощей, баранов на мясо. Но колхоз, оказывается, план по животноводству не выполнил — кормами скот вовремя не обеспечили. Сверх того ливневые дожди прошли и половодьем половину посевов хлопчатника смыло. Так что ему и своих забот по горло хватает.

Вот такие-то дела, приятель. Спасибо, что пришел. Страдания человека только человек облегчить может. Вот я излил тебе душу, мне будто и в самом деле полегчало.

Слушал я его и про себя думал: обо всем этот человек знает — и о том, что заедают нас волокита, бюрократизм, и о тяжком труде хлопкоробов, и о вредных обычаях и традициях, и о том, что без взятки не всегда достигнешь желаемого, необходимого... Почему же он в своих произведениях даже намеком не сказал об этом нигде! Ну, поделился со мною горестями и заботами, облегчил душу. А мог помочь бы сотням, тысячам людей, поднял бы их на борьбу с многоликим злом повседневности. Чем просто хвалить людей, не достойнее ли было бы приносить им пользу пусть даже горьким, но правдивым словом? Если бы поэт говорил не только о светлом, но и о темном, не только о достижениях, но и о недостатках, он больше

радости приносил бы людям. Читатели увидели бы, что есть, оказывается, человек, который радуется их радостями и страдает их горестями.

Обжегшись на молоке, дуют и на воду. В одном стихотворении моего друга была строка: «Страдания народа я в собственное сердце вместил». Некий критик сразу насторожился: что этим хочет сказать поэт? И пошел нанизывать рассуждение на рассуждение, суть которых сводилась к одному — со всей категоричностью поэт был обвинен в пессимизме. Обвинение было высказано в таком тоне и в таком контексте, что на поэта нагнало страху, и он вообще перестал употреблять в своих стихах такие слова, как «горе и муки», «страдания», «разлука», «горькие слезы», «трудности»... Дело дошло до того, что в стихотворении о селевом потоке, который начисто смыл не только посеы хлопчатника, но и дома, дворы колхозников, поэт писал: «По ликующим полям счастливых колхозников играючи промчался озорной сель». Так стихотворению был придан требуемый критикой «оптимистический дух»!

Во время моего посещения больной Азали между делом, как говорится, посетовал и на руководителей Союза писателей республики.

— Ты же сам знаешь, — говорил он, — все, что мной написано до сих пор, посвящено темам современным, актуальным. Какое бы новое событие ни произошло в нашей повседневной жизни, ни одно из них не прошло мимо моего внимания. Я посвящал стихи людям труда — от торговых работников до школьных учителей. Перелистай мои книги: каждая страница, каждая строка их — о хлопке, о труде, о мире... Я даже писал о снеге, выпавшем в августе, чтобы и будущие поколения знали об этом редком явлении природы. Были времена, когда эти произведения мои и премий удостоивались. А теперь что? Удивляют меня товарищи из Союза писателей!.. Не то что отметить премией, они даже моего имени ни в один доклад не вставляют. Я так думаю: современность ныне упала в цене. Но ведь, помимо этого, мои стихи, все до одного, были написаны о дружбе народов, и написаны они в возвышенном, оптимистическом духе!

Псевдоним-то он избрал себе многообещающий, ду-

мал я, Азали — Вечный. Однако стихи поэта даже еще при его жизни стали забывать, не говоря уж о будущих поколениях, а тем более о вечности, о бессмертии. Одно-го оптимизма оказалось мало.

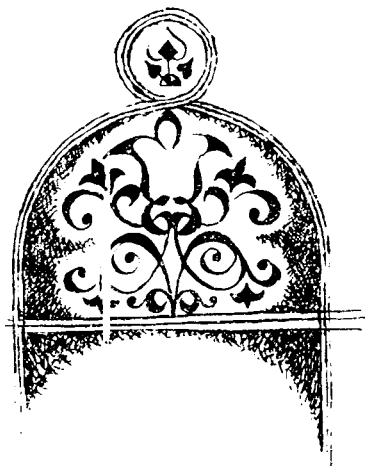
Для того чтобы создать истинно современное произведение, которое надолго пережило бы свое время, надо глубоко познать дух своего времени, надо научиться отличать важное от преходящего и случайного.

После обсуждения я встретился с Гафуром Гулямом.

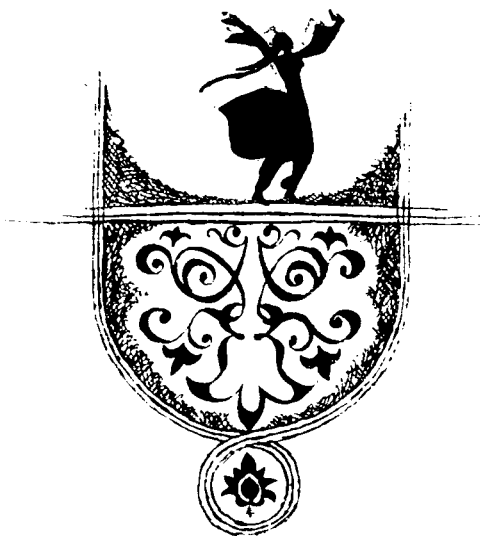
— А, беглый поэт! — начал он разговор полушутливым, полусерьезным восклицанием. — Значит, от одного замечания мы лыжи наострили?.. Слышал, что сегодня здесь говорилось? Да, быть писателем — дело нелегкое! Почаще посещай такие обсуждения, быстрее созреешь!

Тут к нам подошел Владимир Луговской. Гафур Гулям познакомил меня с ним. В то время в Узбекистане жили известные советские писатели: Алексей Толстой, Анна Ахматова, Якуб Колас... Они ходили обедать в столовую Союза писателей. Едва Луговской и Гафур Гулям сели за стол, я, проявив предупредительность и расторопность, сбегал к буфету и вернулся с несколькими кружками пива.

Гафур-ака расспросил, чем я занимаюсь, что нового написал, а потом сказал, чтобы я не стеснялся и приносил стихи прямо к нему домой.



ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ,
СЛЫШАТЬ НЕСЛЫШИМОЕ





#0 7to bee - He othofugettee, HET!
 Toi zaftra fougerele ftholo na kyr jereffon,
 K'effafa keti, o'pazet paic'jet,
 Trefe atqto # peg'at'et othofdeffon...



саду собралось многолюдное дружеское застолье. У нас в таких случаях

дело не обходится без аскии — традиционного узбекского состязания острословов.

Хафиз Расул почему-то не подавал голоса, не участвовал в шутливом разговоре. Намекая на эту молчаливость, кто-то ему сказал:

— О, да вы тоже, оказывается, здесь. Что же вы голоса не подаете? Из-за этого я чуть было не наступил на вас...

Расул-кари спокойно ответил:

— Я подслеповат и не вижу, кто это говорит, старик или юноша. Если юноша, присаживайтесь рядом со мной. Увидят люди и скажут: «Слава богу, Кур-оглы * наконец-то нашел своего отца».

От этой шутки начался поучительный разговор о том, что такое глаза, зрение, что значит видеть или не видеть.

В народе правильно говорят: лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Но ведь важно и другое: как увидеть, зачем? Оказывается, одно и то же десять человек могут увидеть по-разному, каждый по-своему.

Один пойдет на базар и купит какую-нибудь дрянь. Ему говорят: «Нашел что купить! Где у тебя глаза были? Совсем вкуса нет у человека».

* Кур-оглы — персонаж эпоса. Буквально: сын слепого.

Выходит, что человек, лишенный вкуса, тот же слепой.

Другой продвинется по служебной лестнице, улыбнется ему в жизни удача, и вот он уж простых смертных не замечает, возгордился, зазнался.

Значит, и зазнайство — тоже слепота.

Мой знакомый зазнайство и честолюбие сравнил с огнем.

— Огонь, — сказал он, — может быть и благом, может обогреть человека. Но стоит к нему подойти слишком близко, обожжешься. Слишком далеко стоять тоже нельзя — озябнешь. Слава — дело хорошее, но и у нее есть мера.

Про человека, который неспособен на доброе дело, говорят нередко: что он, ослеп?

А ведь много слепого человека слепым не назовешь. Он хоть и не видит, куда идет, зато знает, куда надо ему идти. Спросит дорогу, остушится, споткнется такой слепец, но намеченной цели достигнет.

Самый же опасный вид слепоты — это когда человеку не дано видеть завтрашний день.

На этот счет Айбек так сказал:

— Крестьянин по новорожденному месяцу определяет, какая будет завтра погода. Не зная прошлого, не поймешь сегодняшнего, а без знания сегодняшнего не узнаешь и завтрашнего.

Много поучительного о том, как надо жить, чтобы не пройти по этой жизни слепцом, слышал я от своих родителей. Старшие сестры соберутся идти куда-нибудь, в гости, например, мать обязательно им скажет:

— Человек приходит к другим людям не для того, чтобы есть и пить, живот набивать. Надо посмотреть, как люди хозяйство ведут, как у них в доме прибрано, поучиться нужному и полезному в жизни. Так что не уподобляйтесь слепым: сходим, поедим и вернемся...

Получается, что неумение учиться у людей, брать с них в добром деле пример — тоже слепота.

Отец мне не раз внушал:

— Ты часто бываешь на дружеских вечеринках. Не старайся говорить красиво, не стремись выделяться, обращать на себя внимание... Для того чтобы прослыть умным, необязательно умные речи произносить где надо и

где не надо. Если человек умеет слушать то, что умные люди говорят, он не меньшее уважение обретет.

Весенний дождь всегда человеку в радость. Но стоит хоть капле этого дождя капнуть летом, сразу у нас падает настроение, на душе становится уныло и пасмурно. Так и с мудрым словом — оно всегда ко времени и к месту должно быть сказано. Щеголять умом перед первым попавшимся — тоже слепота.

Ищут люди в жизни счастья,
Красоты ее не видя,
Ищут люди в жизни счастья,
Красоты весны не видя.
Все сады благоухают,
А они живут не видя,
Жизнь вокруг благоухает,
А они бредут не видя.
Сердце их добра не знает,
На людей глядят не видя.
Сердце их любви не знает,
Проживут всю жизнь — не видя.

Один мой знакомый никогда не берет полагающийся ему месячный отпуск сразу весь, а разделяет его на четыре недели и отдыхает по одной неделе в каждое время года. Я спросил его, почему он так делает, а он ответил мне строчками из поэта Уйгуна.

У каждого времени года своя особенность есть,
У каждого времени года свое достоинство есть.

Человек должен уметь насладиться прелестями и весны, и лета, и осени, и зимы. Весной я люблю смотреть на дождь: капли крупные, тяжелые, светлые. Арыки переполняются вешней водой, я радуюсь вместе с детьми, вспоминаю собственное детство. Выйду в поле, а там алое тюльпановое раздолье, ласковое весеннее солнце. На душе легко и привольно, так и кажется, сейчас вырастут крылья, и взлетишь.

Едва первые хандаляки * поспевать начнут, я тут же на машину — и на бахчу, перепелками любоваться. А зима придет — у нее тоже своя прелесть. Люблю снег.

* Хандаляк — сорт небольшой круглой скороспелой дыни.

Слежу, как медленно падают на землю пушистые снежинки, а то и густые хлопья. Осень, пора увядания, тоже по-своему прекрасна. Это ведь и время сбора плодов, которыми природа щедро вознаграждает человека за трудолюбие. А сколько красок осенью, какой аромат разлит вокруг! Что мы, слепые, что ли, чтобы не насладиться ни летом, ни зимой, ни другим временем года? Жизнь щедра и богата, а уж как пользоваться ее щедротами, это зависит от нас самих.

Как-то раз между Гафуром Гулямом и Сабиром Абдуллой зашел разговор о творчестве.

— Есть и такие поэты, — сказал Гафур-ака, — которые дальше собственного носа не видят. Это тоже слепота...

Конечно, сделать нужные выводы из увиденного и услышанного дано лишь человеку умному, умудренному богатым жизненным опытом. Однако одного ума и житейской мудрости писателю недостаточно. Ему еще надо уметь донести свои выводы до других, убедить в них читателя.

— Да, — поддержал Гафура Гуляма Сабир Абдулла, — для писателя еще мало писать о том, что видел в жизни. У писателя и зрение, и слух, и обоняние, и осязание должны быть особыми. Писатель должен видеть те стороны вещей и явлений, которые для всех остальных невидимы, слышать не только сказанные слова, но и догадываться о невысказанном.

Сабир Абдулла еще что-то хотел добавить, но Гафур Гулям перебил его:

— Вот это и называется поиском в литературе, и зависит оно прежде всего от широты кругозора, от эрудиции писателя, от емкости его памяти. Видеть лишь то, что лежит на поверхности жизни, каждый сумеет. Художник должен создавать нечто такое, что сегодня можно принять за плод его воображения и творческой фантазии, а завтра станет реальностью, фактом, правдой жизни. Возьмем, к примеру, сказки...

— Волшебное зеркало, например, — вставил Сабир Абдулла. — Когда-то оно было лишь мечтой человека, а сегодня телевизор для нас — самый заурядный предмет домашнего обихода.

— А «Тысяча и одна ночь», а произведения Жюль Верна?.. Да и те же побасенки, небывальщины иные, что

и по сей день так любят рассказывать в народе? Это ведь тоже плоды воображения, творческого поиска. Недаром говорится: кто ищет, тот всегда найдет.

Гафур-ака задумался на какое-то мгновение, а потом, переглянувшись с Сабиром Абдуллоей и, как мне показалось, даже и перемигнувшись, вдруг сказал:

— А возьмите вновь выведенный учеными «молочный цветок». Его еще называют «цветок-корова». Сейчас главная задача вывести чистый, элитный сорт этого растения, с повышенной молочностью и жирностью. Скоро пять-шесть кустов этого растения будут давать столько же молока, как одна породистая корова. Нет, я восхищен человеческим разумом и талантом. Постоянно он в поиске, ну а как правильно мы говорим: кто ищет, тот всегда найдет.

Я слушал Гафура Гуляма, хлопая глазами, и никак не мог уразуметь, о каком молоконосе идет речь. Начал я подозревать, что меня собираются разыгрывать, но пока слушал собеседников с серьезным вниманием.

Сабир Абдулла тотчас подхватил разговор:

— Да, это великое открытие. В самом деле — откуда берется молоко? Из травы. Если корова не будет есть траву, то не будет и молока. Но ведь дешевле и проще получать его прямо из растений. Пока корова траву съест, пока жвачку пережует, пока переварит... Да ученые, открывшие молоконосную траву, заслуживают самого искреннего восхищения. А какие сливки из этого молока!

— Ароматические, — подхватил Гафур Гулям, — ведь аромат цветов переходит прямо в сливки.

Тут я окончательно понял, что меня разыгрывают, да и сам они не выдержали и рассмеялись.

Такими шутками часто у нас, в Узбекистане, испытываются смекалка, сообразительность, находчивость. Не все выдерживают этот экзамен с тем, чтобы продолжать беседу, смущаются, краснеют и умолкают.

Позже мне приходилось слушать беседы Гафура Гуляма с Юнусом Раджаби, с Хабиби, и не просто беседы, но их жаркие споры.

Весна. Я в новом доме Гафура Гуляма, что на улице Арпаоя. Под мышкой у меня папка с новыми стихами, в голове — отцовские наставления о необходимости разбираться в людях, заранее приготовленные слова, кото-

рыми при случае я собирался поразить воображение большого поэта. Но едва я шагнул за ворота и оказался в просторном, ухоженном дворе, всю храбрость мою как ветром сдуло. И почувствовал я себя, как может чувствовать слабый и одинокий путник, услышав мощный, царственный рык приближающегося льва. Стоило мне только представить, как Гафур Гулям читает мои стихи, как потом начинает говорить о них, спокойно и беспощадно, все заранее заготовленные «мудрые» слова мгновенно испарились, исчезли, как просыпается сквозь пальцы мелкий песок. Стихи, которые я с такою надеждой нес к Гафуру Гулям, сразу показались мне пустыми и ничемными. Так и стоял я у ворот, не решаясь сделать ни шагу дальше, раздумывая, идти мне или лучше вернуться, не искушая судьбу, восвояси. Но тут с широкого деревянного помоста под только что зацветающими виноградными лозами послышался голос Гафура Гуляма:

— Смелее, юноша! Да и здесь не зайцы, никто от вашего грозного вида удирать не собирается...

Я поднял глаза и увидел Гафура Гуляма в компании трех-четырёх человек. Пришлось подойти.

— Вот этого человека, — стал знакомить меня со своими гостями Гафур Гулям, — зовут Юнус Раджаби. Мастерски играет на карнае, на сурнае, особенно по праздникам, и уж тем более — в присутствии девушек. Знает все наши покрытые пылью тысячелетий народные классические мелодии — макамы. Хранитель культурного наследия, музыкальной сокровищницы узбекского народа. Весь, от макушки до пят, переполнен музыкой. При нем громко разговаривать нельзя, он от малейшего дуновения ветерка начинает звенеть. Написал семь томов об узбекской классической музыке. Теперь ее хоть заново сочиняй, народная основа наследия никогда не исчезнет. Запечатлена на века.

А это, — продолжал представлять гостей Гафур Гулям, — Ятим Бабаджан. Хоть его самого Сиротою* зовут, он, чтобы не осиротить артистов, работает режиссером в театре. Он большой мастер заставлять людей при творяться и лицедействовать.

Ближе ко мне, с края помоста, сидел, по-восточному скрестив ноги, представительный, внушительного тело-

* Я т и м (етим) — сирота.

сложения, очень смуглый мужчина. Он перебирал в руках карты.

— А это, — показал на него Гафур Гулям, — прославленный караванщик Юлдаш. Он утверждает, что обошел и объехал весь белый свет. Он такой путешественник, что, спроси его, где Янгиюль* находится, он и это знает. Каждый, кто, положившись на этого человека, отправится в дальний путь, запросто может стать в пустыне добычей волков.

Много интересного довелось мне в тот день услышать в этом дворе.

Заговорит Гафур-ака с арбакешем, и несведущему человеку может показаться, что он сам всю жизнь проработал возницей — с таким знанием дела толкует он об устройстве арбы, о породах лошадей, об их упряжи. Но вот начинает он с Юнусом Раджаби о музыке беседовать, разгорится у них спор, он берет дутар и тут же начинает играть, сердито приговаривая: «В народе это место так, между прочим, исполняют!..»

Чтобы показать, что и я не лыком шит, я начинаю улыбаться, едва услышу иронию в какой-нибудь фразе, но тут же мне приходится краснеть за свою оплошность, отчего улыбка сама слетает с моей физиономии, потому что дальше начинаются настолько глубокомысленные философские рассуждения, что я и в смысл их вникаю не сразу. Ну, думаю, сейчас и я блесну своими знаниями, вверну что-нибудь помудреней, но тут следует взрыв безудержного хохота. Так я и не смог включиться в беседу. Пока у меня окончательно созреет мысль и я наконец решаю ее высказать, собеседники переходят уже на другую тему.

И сидевшие здесь люди, и разговор, который они вели, так непохожи были на все, что мне приходилось до этого видеть и слышать! Каждый из собеседников блистал красноречием и эрудицией. Даже угощения на дастархане хозяина показались мне какими-то особенными. На большом блюде из тонкого китайского фарфора возвышалась румяной горкой самса**, посреди стола компот из сушеного урюка в красивом графине. В таких же красивых вазочках простоквапа, в которую накрошена раз-

* Янгиюль — небольшой городок неподалеку от Ташкента, вроде Люберец или Химок для Москвы.

** Самса — треугольный пирожок, обычно с мясом.

личная зелень: молодой чеснок, зеленый лук, мята и прочие травы. Рядом на тарелке только что созревший коксултан* и зеленый урюк. По подушкам вокруг пламенеющие тюльпаны, нежные фиалки... Одним словом, здесь было все, что может подарить человеку весна, все, чем цветет и благоухает по весне благодатная узбекская земля.

Гафур-ака налил в пиалу компота и протянул мне со словами:

— Мудрый напиток. Наш народ недаром весной празднует Новый год. Все наши обычаи и обряды опираются на тысячелетний опыт народного врачевания. Табибы-лекари говорят, например: «Если желчь попадет в мозг, человек сойдет с ума, а если слизью глаза зальет, человек ослепнет». Желудок человека ни дать ни взять печной дымоход. Если время от времени не очищать его от сажи, нагара, то дым повалит назад. Весь осадок, что в желудке и кишечнике накопился, устремится к мозгу, а там и язык отнимется, и зрение помутится, в голове шумы и звоны пойдут, кровяное давление повысится... Компот и вообще фрукты и овощи всю эту пакость в организме размывают. Человек чувствует облегчение. На нынешнем медицинском языке вся эта накипь в организме холестерина называется. Вот видишь, я заговорил как заправский лекарь, — рассмеялся Гафур-ака и, глядя на меня, продолжал: — Все это твой отец лучше меня должен знать. Так что выпей... Очень мудрый напиток.

Он протянул мне пиалу с компотом, а сам, повернувшись к гостям, наконец и меня им представил:

— Это Шукрулло Эмчиев, его отец, Юсуфходжа-кари, известный в нашем крае оспопрививатель. В Казахстане, в Таджикистане, не говоря уж о нашей республике, всюду он оспу прививал. А вот наш юный гость по стопам отца не хочет идти, хочет поэтом стать. Не знаю только, что из этой затеи выйдет. Отец-то его умел человека здоровым сделать, будут ли стихи сына такой же спасительной прививкой для людей? Давайте-ка послушаем его стихи. Понравятся, благословим на дальнейшее служение поэзии, а не понравятся, посоветуем не тратить времени попусту. Пока не поздно, пусть учится у отца оспопрививанию. Ну, читай, Эмчиев!..

* Коксултан — вид мелкой сливы зеленого цвета.

Потом бросил на меня быстрый взгляд и добавил:

— Тебе бы лучше стихи свои не именем Шукрулло подписывать, а псевдонимом Эмчиев.

Я прочитал одно небольшое стихотворение. Слушатели мои молчат, будто воды в рот набрали. Только было я собрался второе стихотворение прочитать, как Гафур-ака взял у меня лист из рук и сам стал читать. В это время к нам подошел еще один человек. Гафур Гулям, не прекращая чтения, кивком пригласил его садиться. Но вот он прочитал стихотворение и, ничего сам не говоря, предложил гостям высказаться о нем.

— Можно, кажется, и не идти ему в оспопрививатели, — коротко сказал Юнус Раджаби.

— Мы ведь люди простые, арбакешы, — начал издали Юлдаш-ака, — в тонкостях поэзии не разбираемся. Но если и дальше будешь так же кормить, поливать свою поэзию, ухаживать за ней, из тебя обязательно что-нибудь выйдет.

— Ну если Юлдашу стихи понравились, то надо без раздумья благословить поэта, — закончил Гафур-ака. — А вы как думаете? — обратился он к недавно пришедшему человеку — это оказался научный сотрудник академии. Тот начал не очень решительно:

— Я человек науки, в стихах не особенно...

Видя, что ничего путного от этого «человека науки» не дождешься, Гафур-ака не дал ему договорить и громко сказал:

— Видать, не разбирается человек в стихах! Не так ли, Юнус-ака?.. Стихи — они сродни музыке, мелодии, песне. Услышит самый простой человек песню, заденет она его за душу, он тут же, не стесняясь, выскажет свое восхищение, а равнодушным оставит, тоже не побоится признаться в этом. Невелика, в конце концов, наука прослушать стихотворение и коротко свое мнение о нем высказать: понравилось или не понравилось. Для этого, правда, надо, чтобы человек, когда стихи слушает, мог думать и видеть шире и дальше, чем это его профессией предусмотрено. Надо, да простится мне, чуть-чуть дальше собственного носа видеть, не походить на человека, который, войдя в туннель, считает, что и выход обязательно там же должен быть, где вход. Впрочем, это не только поэзии касается.

Человек, осведомленный лишь о том, что нужно его

профессии, похож на лодку, нагруженную на один борт. Далеко на ней не уплывешь. Достаточно небольшой волны, чтобы она накренилась и опрокинулась. Или я не прав?..

— Прав, — подтвердил Юлдаш-арбакеш. — И переметные сумы на лошади должны быть равномерно наполнены. Но был бы хурджун *, в него всегда найдется что положить. Наш поэт еще молод. Потихоньку-полегоньку обзаведется необходимой поклажей.

— У музыкальных инструментов тоже множество ладов, — дополнил говорившего Юнус Раджаби. — Каждый лад звучит по-своему. Если в инструменте всего один лад — это карнай. Если непрерывно слушать рев карная, не возрадуешься.

— Bravo! — воскликнул Гафур-ака. — Предмет, увиденный одним глазом, оказывается совсем не таким, нежели когда на него обоими глазами смотришь. Заруби, поэт, это себе на носу, — закончил он полушутливо-полусерьезно.

И я, и незадачливый научный работник смущенно молчали, понимая, что сказанное касается нас обоих.

Тут Гафур Гулям, будто вспомнив о чем-то, громко воскликнул:

— Что это все разговоры да разговоры?.. Давайте лучше настоящие стихи читаем!

И он стал на память декламировать газели Навои. Потом он снова обратился к научному работнику:

— Ну а эти стихи как вы находите?

— Это же Навои... Разве у Навои могут быть плохие стихи!

Тогда Гафур Гулям стал читать Пушкина. Снова услышав похвалу, некоторое время он пристально смотрел на работника академии, а потом сказал с озорным вызовом:

— И что это я все чужие стихи читаю? Послушайте-ка мои. Какой ни есть, а все-таки и я поэт.

Прочитал и опять поворачивается к научному сотруднику: как, дескать?

— Гафур-ака, — отвечает тот, — что вам мое мнение? Всем ведь известно, что вы замечательные стихи пишете...

* Хурджун — переметная сума.

— Мои стихи вы понимаете, стихи Навои и Пушкина тоже. Но ведь признавать всеми признанные стихи — это еще не наука, мой дорогой! Наука не терпит плутовства. Ученый должен открывать таланты и знакомить с ними других. Подумайте над моими словами. А за степенями и званиями не гонитесь, никуда они от вас не убегут. Люди и в пятьдесят лет диссертации защищают. Так что у вас все еще впереди, а вот поэзию понимать надо сейчас учиться, в молодости. Потом поздно будет...

Гафур-ака задумался и вдруг, ни к кому не обращаясь, спросил:

— Что такое героизм?

И сам же ответил на свой вопрос:

— Человек, который с постоянной оглядкой живет, мучается сомнениями — а что будет, если я это сделаю, что подумают, если я так скажу? — никогда ничего путного и полезного не сделает. Даже мудрую мысль он из-за постоянных своих опасений не выскажет. Так и прослышет недалеким. А кому недотепа и простофиля интересен! Вот вам прямой путь к безвестности. Неумение человека в самом себе разглядеть и утвердить личность тоже разновидность слепоты.

Конечно, очертя голову бросаться в огонь — это еще не большое мужество, ровно как и не большой ум. Сначала надо цель уяснить, а потом человек должен в эту цель уверовать. Вот в такой осознанной устремленности к ясной цели героизм и заключается.

Гафур-ака на время задумался и продолжал:

— Но вообще-то через ручей сразу, одним махом перепрыгивают. А тот, кто размышлять начнет, с какой ноги это удобнее сделать, обязательно в воду угодит.

Независимо от того, кому конкретно были адресованы все эти слова Гафура Гуляма, я принял их только на свой счет. Я и в самом деле почувствовал себя вдруг лодкой, на один бок нагруженной. До этого дня я писал стихи для стихов, не особенно задумываясь об их назначении, о том, что я хочу сказать людям, какую службу им сослужить, какую пользу принести.

— Остальные твои стихи мы прочитаем позже и по толкуем о них более обстоятельно, — сказал Гафур Гулям. — Заходи без всякого стеснения. Если сможешь, зайди завтра к Абиду-ака, и вместе с ним приходите ко мне. Есть один разговор. Знаешь, где он живет?

Меня очень обрадовало, что Гафур-ака дал мне поручение. Этим он как бы подчеркнул свое расположение ко мне. Так я стал постоянно бывать в доме Гафура Гуляма. Однако, несмотря на наши чуть ли не ежедневные встречи, дело до чтения моих стихов и до обещанного разговора о них так и не доходило. Но я был этим даже доволен. У меня есть повод часто бывать в доме Гафура Гуляма, знакомиться там с новыми и новыми людьми, слушать их разговоры, которые обогащают меня все новыми и новыми впечатлениями. Мои несовершенные стихи дорабатываются. Здесь говорят о литературе, о людях и мире. Я ни разу не видел этот дом без гостей. Двери его открыты с утра до позднего вечера, курпачи постоянно расстелены, дастархан уставлен угощениями.

Двор у Гафура-ака просторный, это скорее сад, но удивительно, что никакого звонка на воротах нет. Как-то я в шутку сказал хозяину:

— С середины вашего двора никто ничего не услышит, хоть криком кричи. Что для вас двухрублевый звонок, неужели не можете установить его на воротах?

— Звонок устанавливают на воротах, которые постоянно закрыты, — совершенно серьезно разъяснил мне Гафур-ака. — А эти ворота с тех пор, как их построили, постоянно открыты. К чему звонок для настежь раскрытых дверей?

И в самом деле, я не помню, чтобы когда-нибудь двери этого гостеприимного дома были на замке. В них с утра до вечера шли и шли люди. Знакомые и незнакомые. Здесь неделями жили все, кто пожелает: от родных и близких Гафура-ака из Бухары и Ферганы до все незнакомых седобородых кокандских старцев, умевших читать древние рукописи. Если с утра ты застаешь Гафура-ака беседующим с корреспондентами газет и журналов, то в полдень уже видишь, как он внимательно выслушивает наказы своих избирателей из дальнего района республики. О поэтах я уж и не говорю — от прославленных до робких новичков, только еще берущих в руки перо, — они непрерывной чередой входили и выходили через предупредительно распахнутые ворота. Здесь постоянно устраивались поэтические диспуты, читательские конференции, музыкальные вечера. Гафур-ака находил даже время утешить какого-нибудь Абдуллу-простака, что приходил из старой махаллы,

где некогда жил поэт, с ведрком коксултана или ранней черешни, чтобы поговорить по душам. Гафур-ака обязательно попробует коксултан нового урожая, а он до того кислый, что хочешь или не хочешь, а физиономию перекосит. Абдулла-ака не преминет тут же заметить:

— Вот она, алчность, до чего доводит! Всякую на свете пропасть в конце концов доверху заполнить можно, если старание приложить, а вот эту трижды в день заполняешь, заполняешь, а она все бездонной остается.

И показывает на рот.

Гафур-ака удовлетворенно кивает головой, а потом говорит:

— Нас гордыня слишком часто одолевает, мы считаем, что все на свете познали. Но вот говорит простой человек, и диву даешься — сколько мудрости и неожиданной свежести в его словах. Расскажу один случай, который сейчас пришел мне на память.

— В старые времена, если байский сынок разгуляется сверх всякой меры, все-де позволено: кого хочу обижаю, кого хочу привечаю, то его сажали на коня и везли на кладбище. «Вот, — говорили ему, — видишь место, куда все мы рано или поздно придем. Здесь все равны — и шах и нищий». Глядишь, озорник и призадумается. Я к чему это рассказал? В народе говорят: с одним встретишься, мыслью поделись, с другим — о здоровье справишься. Не надо перед человеком кичиться, считать, что он глупее тебя. Сойдись с любым человеком поближе, и себя лучше познаешь.

Между прочим, поэтому Гафур-ака и был постоянно с людьми и на людях.

Естественно, может возникнуть вопрос: если Гафур Гулям с утра до ночи принимал и провожал гостей, подолгу беседовал с ними, выслушивал их просьбы и жалобы, помогал и утешал, когда же он успел написать многие тома своих сочинений и прочитать чуть ли не всю мировую классику, когда думал о делах академии? Как он умудрялся выкраивать время для работы, творчества? Все эти вопросы вполне резонны, но у каждого писателя своя манера работы, а вот Гафур Гулям работал вообще по-особенному. Он работал во время отдыха и отдыхал во время работы.

Однажды вышел я из дому очень рано, как у нас, уз-

беков, говорят: еще до того, как прокричал суфи*, и направился к Гафтуру Гуляму, чтобы показать ему подготовленный к изданию сборник стихов. Я знал, что Гафур-ака встает чуть свет. То ли птицы своим рассветным щебетанием будили поэта, то ли поэт своими стихами будил птиц. Он любил повторять: «Наслаждайся стихами на рассвете».

И на этот раз Гафур-ака уже трудился. Я заявился как раз в то время, когда Гафур-ака увлеченно «беседовал» с великими философами и поэтами Востока — Мирзой Абдулкадыром Бедилем и Шейхом Саади, сосредоточенно штудировав их сочинения. Чтобы не мешать, я скромно сел в сторонке и стал молча ждать. «Да, — думалось мне, — чтобы беседовать с этими светилами разума и поэзии, надо очень глубоко, в совершенстве знать восточную философию, историю, языки народов Востока». Передо мною шло молчаливое общение трех умов, трех поэтов. Мне не хотелось нарушать эту плодотворную тишину. Но вот Гафур-ака закрыл книгу. Чтобы и меня приобщить к сокровищнице мудрости, которой он только что наслаждался, он перевел содержание некоторых стихов Бедили, импровизированно воссоздал тут же некоторые наиболее совершенные их строфы. Я заметил тогда:

— Гафур-ака, в народе говорят: из рук человека птица не наклюется. Стихи эти и в пересказе хороши, но в оригинале, видимо, еще лучше. Взяли бы вы да и перевели их на узбекский язык, чтобы все могли наслаждаться этими шедеврами.

— Легко — «перевести»! — вздохнул Гафур Гулям. — Для этого мало язык оригинала знать. Для того чтобы донести до читателя все величие, все совершенство этих стихов, надо проникнуться духом каждого их слова, постигнуть самые тонкие оттенки смысла и чувства, настроения, передать самобытнейшую мелодию, гармонию этих бессмертных творений. Я боюсь разрушить при переводе это совершенство. По возможности, такие стихи надо читать в оригинале. Перевод же всегда будет только бледной тенью первоосновы...

Эта мысль Гафура-ака заставила меня вспомнить сы-

* Суфи — (муэдзин) — служитель мечети, призывающий к молитве.

на моей тети Убайдуллу, который сказал как-то о переводах: «Переводное произведение похоже на разогретый плов. Насытиться-то им человек насытится, только все равно это не тот плов, который только что из котла. Нет в нем того непередаваемого аромата, тонкого вкуса». Вспомнил я это, но Гафуру Гуляму пересказывать слова Убайдуллы не стал. Боялся, что зайдет разговор о переводах, и мои собственные стихи останутся непрочитанными.

Я взял папку и положил ее на стол, чтобы сразу стало ясно, зачем я пришел. Но желания читать мои стихи у Гафура-ака в это утро не было.

— Хоть я и не все твои стихи прочитал, — заметил, он, — но мнение мое о них тебе известно. На зрелость и вкус арбузы проверяют по-разному: некоторым достаточно пощелкать по арбузу, а другому надо обязательно надрезать его и попробовать. Так что, не распространяясь о твоих стихах, я напишу тебе рекомендацию для поступления в Союз писателей. С недостатками же твоих стихов мы поступим следующим образом: ты сам их все должен обнаружить!

Конечно, его рекомендации я обрадовался, но, признаюсь, меня и удивило и встревожило при этом его явное нежелание читать мои стихи. Почему? Чтобы выяснить причину этого, я решил пойти на маленькую хитрость и рассказал Гафуру-ака сон, который якобы этой ночью я видел. Во сне выходило, что сегодня мне должна сопутствовать удача в делах. Но получилось так, как когда-то говорил мне отец мой: слово, сказанное не к месту, та же слепота. Гафур-ака совсем забыл о моих стихах. Едва дослушав мой сон, он взял в руки перо и завыл:

— А вот сейчас мы сделаем из этого сна стихотворение!.. Тогда и узнаешь, что твой сон тебе предсказывает...

С этими словами он аккуратно вывел название будущего стихотворения: «Толкование сна, который увидел Шукрулло», и стал быстро набрасывать строки.

Очень скоро Гафур-ака закончил первые две строфы:

Тебе приснилась радуга, не знаешь ты к чему.
То к радости большой в семье твоей, в дому.

Тебе приснился дождь, не знаешь ты к чему.
К достатку и деньгам в семье твоей, в дому.

— Ну как? — спросил у меня Гафур-ака.

Пока я собирался с мыслями, он позвал жену свою Мухаррам и прочитал ей только что сочиненные строки.

Она их похвалила, разумеется, да и я к этому времени уже обрел дар речи.

Гафур-ака был доволен и не без гордости сказал:

— А ты можешь вот так, в один присест, написать стихотворение о чем-нибудь только что увиденном или услышанном? Из всего можно сделать стихотворение. А ну попробуй скажи мне что-нибудь первое, что взбредет на ум, или назови, что попадется на глаза, посмотрим, получится у меня стихотворение или не получится.

Я стал внимательно разглядывать дом, весь двор поэта и, признаться, растерялся. Все здесь было подобрано с истинно поэтическим вкусом. На каждой вещи лежал отпечаток утонченной поэтической природы, сочетавшейся с требованиями меры и целесообразности. На столе маленький бронзовый бюст Гёте, на стенах — ковры, по которым развешаны дугар, тамбур, другие музыкальные инструменты. Я выискивал такое, о чем никто еще и никогда даже не помышлял писать стихов, то, до чего и сам Гафур-ака не додумался бы. И тут взгляд мой упал на чернильницу. О ней-то я и предложил хозяину написать стихотворение. Гафур-ака несколько мгновений пристально разглядывал чернильницу, что-то невнятно бормоча. Крупная кисть его руки беспокойно заметалась над столом, пальцы то сжимались, то разжимались, будто пытаюсь ухватить что-то невидимое. Глаза возбужденно загорелись, губы стали что-то ритмически нашептывать. Но вот он замолчал, собрался весь, отчего стал похож на льва, готового броситься на добычу, и, не останавливаясь, строка за строкою, быстро начал писать.

Когда-то Навои воспел свое перо,
Но про тебя забыл упомянуть хоть словом,
Но значишь ты не меньше, чем перо,
В моем быту рабочем и суровом.

Хочу, чтобы любая капелька твоя
Горела кровью, бомбою взрывалась*.
Я черпал из тебя, и стал известным я,
А ты в тени, в безвестности осталась..

— Вот, пожалуйста, — заключил Гафур-ака свою импровизацию, — нравится?

* Стихотворение писалось в дни войны.

Что я мог сказать? Рождение на моих глазах этого стихотворения показалось мне просто чудом. Конечно, я от всей души похвалил его.

— А что именно тебе в моих стихах понравилось? Ну, хороши... А чем хороши?

— Все хорошо! — заявил категорично. — Суметь в какие-то считанные мгновения передать в стихах столько глубоких мыслей...

— А в чем секрет этого умения, ты задумывался когда-нибудь? Вот это, между прочим, и называется — видеть невидимое, слышать неслышимое. У тебя-то самого как стихи рождаются?

Вопрос заставил меня задуматься...

— Как-то я спросил одного поэта, — продолжал Гафур-ака, — что у тебя стоит перед глазами, когда ты пишешь стихи, ты в это время о жизни думаешь?

— Конечно, — ответил он. — Я сначала окидываю взглядом все, что есть в доме и во дворе. Потом неторопливо на улицу выхожу, смотрю на трамваи, брожу по берегам канала, по базару толкаюсь в торговых рядах...

— А стараешься ли ты в это время представить себе конкретных людей? Задумываешься ли над тем, что их волнует и тревожит?

— Ну, что ты, разве можно обо всем одновременно думать? Тогда некогда будет и стихотворение писать.

Другой поэт ответил так:

— Когда я пишу стихи, для меня ничего, кроме листа бумаги, не существует. Я в это время не вижу даже тех, кто со мною рядом находится. Где мне о людях в тот момент думать, когда любая пустячная вещь, невзначай попавшаяся на глаза, отвлекает меня, сбивает с мысли.

Вот и у тебя этот же недостаток: ты настолько отдаешься осенившей тебя мысли, что все остальное вокруг перестает для тебя существовать. Ты вроде и жить перестаешь, на жизнь будто сквозь какое отверстие смотришь. Я недавно сказал тебе, что не буду указывать на недостатки твоих стихов, ты сам их со временем обнаружишь. Теперь ты понял, почему я так поступил?

Как заметил однажды Айбек, Гафур Гулям был из тех людей, которые умеют видеть сегодняшний день из вчерашнего, а исходя из опыта сегодняшнего, видеть день завтрашний,

Не будь наделен Гафур-ака этой способностью, разве сумел бы он, лишь только взглянув на обыкновенную чернильницу, в считанные мгновения перенестись на пятьсот лет в прошлое, увидеть в седых глубинах истории охваченного поэтическим вдохновением Навои, а капли чернил силой воображения превратить в капли крови?

В чем же заключался секрет этой оперативности мышления Гафура Гуляма (если можно применить такое прозаическое выражение к взрывному темпераменту поэта)? Откуда у него этот неиссякаемый сундук поэтических драгоценностей? Ответы на эти вопросы я услышал от самого Гафура Гуляма.

Гафур-ака не проходил в жизни даже мимо самого неприметного явления, пустяковой вещи, без того чтобы они не заинтересовали его, не заставили докопаться до заложенной в них сути и смысла. Впрочем, в жизни и в самом деле нет мелочей. Умение же из повседневных, обыденных мелочей делать большие и серьезные выводы зависит от кругозора поэта, его эрудиции, богатства фантазии. Гафур-ака был очень общительным, или, как говорят сегодня, коммуникабельным человеком. Его постоянно тянуло к людям. Он очень любил, взяв за ручонку свою внучку, отправиться с нею на Бешагачский рынок за зеленью, первыми хандалаяками. Простота была заложена в самой его натуре, и он был готов выполнить (и умел это делать!) любую работу.

Как-то в шутку я спросил у Гафура-ака:

— А хандалаяки с базара носить — это тоже входит в познание жизни?

В том же шутливом тоне Гафур Гулям ответил мне:

— Рассказывают, в старину один человек постоянно ходил по базарам. Приценился к каждой вещи, выяснял, что она собой представляет, для чего предназначена, но... ничего не покупал.

Тогда его стали спрашивать, кто в шутку, а кто и раздражительно: «Чего это вы все прицениваетесь да расспрашиваете, а покупать ничего не покупаете?» — «Не терплю незнания», — коротко ответил чудака. Я точь-в-точь на этого человека похож. Сундук с драгоценными камнями — у народа, в самом народе. Но его мало обнаружить, надо еще и открыть. А это не каждому удается. Потому что сундук этот в человеческих сердцах. Ключ же к нему — в любви к людям.

До сих пор у меня стоит перед глазами все, что связано с кончиной Гафура Гуляма. Я и сегодня без слез не могу вспоминать о ней.

Всю жизнь свою Гафур-ака провел среди людей, внимательно присматриваясь к ним и постигая сокровеннейшие глубины их сердец, размышляя о многосторонней человеческой природе. Утомленный этими размышлениями, он накидывал на плечи узбекский национальный халат, надевал на ноги кавуши*, прихватывал с собою осьмушку чая, нават** и отправлялся в гости: или к кому-нибудь из постаревших родственников, или к своим знакомым в старой махалле, где он раньше жил. Шел проводить почтенных старцев, у которых в детстве и юности учился уму-разуму, искусству постижения жизни, или друзей трудного, но такого дорогого — и с каждым годом становящегося все дороже! — детства. Едва покажется в махалле его машина, как бесчисленная босоногая детвора поднимает невообразимый ликующий гвалт: — Наш Гафур-ака приехал, Гафур-ака приехал!..

Тут же щебечущей воробьиной стаей окружали его. Нередко случалось, что он усаживал с десяток этих ребятшек в машину, как цыплят в решето, и ехал с ними на базар, рассказывая по пути интересные смешные истории. Там покупал он им вволю весенних лакомств: равача***, коксултана и снова вез эту счастливую ораву в махаллу.

Однажды, уже после смерти Гафура-ака, в махалле появилась его машина. Как обычно, с криками — Гафур-ака приехал! — сбежалась со всего квартала детвора. Каково же было их горе, когда выяснилось, что в знакомой машине нет того доброго волшебника, который рассказывал им такие замечательные сказки и щедро одаривал лакомствами! В разочаровании и недоумении переминались они с ноги на ногу у машины, с тревогой глядели на печальные лица взрослых, пока кто-то не сказал ребятам: «Нет больше Гафура-ака... Он умер...» Надо было видеть в тот момент детские лица. Дети не умеют скрывать своих чувств, подавлять их... Нет, мне нико-

* Кавуши — кожаная обувь в виде галош.

** Нават — специального приготовления сахар в виде леденцовой массы.

*** Равач — ревеня.

гда не забыть непонимающих, протестующих детских глаз!..

Насколько свободно и радостно чувствовали себя махаллинские дети с Гафуром Гулямом, настолько и он отдыхал с ними душой, будто и сам на это время возвращался в далекое детство. Конечно же, без этой любви он не смог бы создать своего приобретшего широкую известность поэтического шедевра «Ты не сирота», не смог бы создать такого замечательного произведения для детей, как «Зубы Нортोजи». Герои его повести «Озорник» родились и выросли в той же старой махалле, чтобы обрести бессмертие в новой узбекской советской литературе.

Однажды мы отправились с Гафуром Гулямом на базар, чтобы купить для его престарелой уже к тому времени тещи кавуши. Почему-то Гафур-ака повел меня не сразу к рядам обувщиков, а завернул сначала в ряды медников, где мы сразу оглохли от невообразимого стука и звона. В натуре Гафура Гуляма было много интересного и даже странного на первый взгляд. «Что это он собирается делать у медников?» — подумалось мне, но я молча следовал за своим спутником. Чего только не было в этих крохотных мастерских и лавчонках ремесленников! От крошечных самоварчиков, в которых байские сынки раньше кипятили чай в медресе, до различных кумганов* затейливой формы и больших, круглых медных подносов. Стены до самого потолка были увешаны тазами, над которыми моют руки кашкулами**. Гафур-ака внимательно и подолгу разглядывал каждую вещь, но словно не находил того, что ему требуется. Затем мы отправились в ряды, где изготовлялись и продавались бешики***. И здесь он пристально изучал узоры, их яркую радужную расцветку. Узоры и в самом деле были исполнены с большим мастерством и тонким искусством. Взгляд Гафура Гуляма упал на сухоощавого человека, плотно укутанного в просторный халат.

— Нет, ты только посмотри, как он стоит, — восхищался Гафур-ака.

* Кумган — медный кувшин с ручкой и носиком.

** Кашкул — большой медный гравированный сосуд, несколько напоминающий ведро, с крышкой и плоской дужкой; сосуд продолговатой формы, служивший дервишам для сбора подаяний.

*** Бешик — ярко раскрашенная деревянная колыбель.

Будто заправский покупатель, хорошо знающий, что ему нужно, Гафур-ака обратился к этому человеку и спросил, нет ли у него самшитовых гребней, назвал еще какую-то мудреную вещь, многозначительно и не без лукавства поглядывая на меня. «А знаешь ли ты хоть, что это такое? — читалось в его взгляде. — Ведь завтра-послезавтра все эти вещи безвозвратно исчезнут, а потом и названий их ни в чьей памяти не сохранится. Так что смотри и запоминай».

Мне часто в течение многих лет приходилось общаться с Гафуром Гулямом, поэтому я хорошо изучил его характер и нрав. Его прогулки по базару не были праздным времяпрепровождением зеваки. Это было путешествие в историю, в седую старину, в жизнь, которой жили наши деды и прадеды, желание увидеть следы этой жизни собственными глазами. Пусть многое, что хранили в себе эти ветхие лавчонки, давно отслужило свой срок, но зато каждая вещь была произведением искусных человеческих рук, несла на себе печать тонкого вкуса безвестного мастера, была немым свидетелем и участником давно и неведомо как отшумевших событий.

Через ряд бешиков мы не спеша прошли туда, где торговали халатами, а затем направились к рядам, где изготавливали тюбетейки. И люди здесь были другими, и искусство для этих вещей требовалось иное.

Тюбетеичный ряд даже и не походил на базар. Перед нами словно открылся цветник, играющий всеми красками и радужными оттенками. Нежно-белые, как цветенье миндаля, в затейливых орнаментах, ковровые... Глаза разбегались, казалось, что это не тюбетейки держат в руках продавцы, а предлагают вам живые букеты цветов. Только что легкокрылые бабочки не порхают над этим ярким цветником.

Гафур-ака заметил девушку, которая уже примерила красивую ковровую тюбетейку, но никак не может сойтись с продавцом в цене. Он подошел к ней и говорит:

— Очень идет тебе, не раздумывай, бери. Все парни, которые увидят тебя в этой тюбетейке, до самой калитки тебя будут зачарованно провожать. Никто и не подумает спросить, какого ты роду-племени. Разве может быть плохой девушка с таким тонким вкусом?

Повернувшись к женщине, что продавала тюбетейку, Гафур-ака заметил укоризненно:

— Ну разве можно торговаться с такой девушкой? Вы только поглядите, как она украшает вашу тубетейку? Я бы даром ее отдал!..

Но и женщина оказалась из тех, что не лезут за словом в карман.

— Я ведь не поэт Гафур Гулям, чтобы отдавать бесплатно. А коли вы такое наслаждение получили, то платите за девушку, и пусть себе носит на здоровье и парней с ума сводит...

И лукаво глядит на покрасневшую от смущения девушку.

— Ну что ж, доченька, считай, что эта замечательная тубетейка твоя. Я ведь тоже как отец тебе, пусть это будет от меня на память...

С этими словами, несмотря на протесты девушки, он заплатил за тубетейку и вручил ее растерявшейся покупательнице.

Для меня это не было неожиданностью. Гафур-ака всей душой любил людей, умел радоваться их радостям.

Как-то один из моих друзей рассказал об интересном случае, который произошел у него с Гафуром Гулямом.

— Захожу я в книжную лавку Сайфулдина, а его нет. Там сидит, перелистывая газеты и книги, Гафур Гулям. Я у него спрашиваю: «А где Сайфулдин?» Посмотрел на меня Гафур-ака и говорит: «Ты вроде приятель его, так заходи, присядь, подожди немного. Он скоро придет, на базар за покупками отправился».

Подождал я немного, а Гафур-ака по-прежнему шуршит страницами, просматривает газеты и книги. Тут взгляд его упал на глиняную игрушку: изображена была женщина с ребенком. Он изумленно хохотнул, а потом вдруг глянул на меня исподлобья и спросил так, будто собрался меня за что-то отругать:

— Твои родители каковы из себя?

Вопрос был неожиданным, я растерянно молчал.

— Что ж ты молчишь? Какова, например, твоя мама?

Я не знал, что ему отвечать.

Тогда Гафур-ака показал мне куклу.

— Погляди сюда, твоя мать или ты сам похожи на них? Наверняка мама твоя не такая. Она, конечно, красивая женщина, иначе и ты не был бы таким симпатичным парнем...

Он в гневе потрясал куклой перед моим носом и требовал:

— Нет, ты погляди, погляди на их физиономии!..

И мать и младенец в самом деле были безобразны. Голова у матери непомерно большая, волосы, словно у девочки-подростка, заплетены в какие-то тоненькие крысиные хвостики. Не менее безобразно был вылеплен и ребенок в тубетейке.

— Ну скажи, ты видел когда-нибудь таких уродцев? — не унимался между тем Гафур Гулям. — Неужели мать у тебя такая безобразная?! Я ведь знаю твою маму. Знаю и то, как отец твой, спрятавшись под айвовым деревом, подглядывал через садовую ограду, когда мама твоя, помыв голову и расчесав темные, как ночь, шелковистые волосы, наводила на берегу хауза вместе с подругами брови усьмой*. Увидел он ее, статную, нарядную, в красивом атласном платье, по-лебединому выгнувшую белую шею, и сразила его любовь. Вскоре они и поженились. Ты дитя этой красавицы. А это?!

И он в гневе хватил куклой об пол.

— Ты читал мое стихотворение «Женщина»? — спросил он, немного поуспокоившись. — Так вспомни, что и как там говорится об уме и красоте узбекской женщины, а потом посмотри на это страшилище!

Тут и Сайфуддин появился. Гафур-ака устроил ему форменный допрос: и сколько у него таких кукол, и где он их взял? А в заключение тоном, не допускающим возражений, заявил:

— Чтобы больше такого не продавал! И тем, кто их делает, передай это.

В этом тоже выразилась безмерная любовь Гафура Гуляма к людям, его умение и в пустяке увидеть важное и значимое. Он умел оценить и бездушную глиняную куклу, и живое человеческое сердце.

У некоторых писателей есть для работы отдельный кабинет. Таких кабинетов у Гафура Гуляма было бесчисленное множество, ибо и работать и отдыхать он мог везде, в любой обстановке. В самом многолюдном месте мог возникнуть интересный замысел, который он не только тут же воплощал, но и знакомил окружающих

* Усьма — красящее вещество, употребляемое для окрашивания бровей.

с только что написанными, еще не остывшими от сердечного жара стихами.

Шла весна. Прогуливаясь пешком по старогородским кварталам, Гафур-ака залюбовался цветущими плоскими крышами местных глинобитных домпшек, и тут же родились о них взволнованные стихи:

О старых кварталов узбекские плоские крыши,
Кто яркое любит, взгляните скорее сюда!
Искусство народа художеств прославленных выше,
Шелков и атласов не ткали таких никогда.

Весенние краски... Уже тополя облетели,
Линяют верблюды, ягнята резвятся в степях,
Я рад, что поэтом из детской ушел колыбели,
И рад, что могу воспевать эту землю в стихах.

Уходит весна, и давно уж белеют седины,
Но в сердце уставшем живой огонек не погас.
Стихи и поэмы, все книги свои до единой
На детские игры готов я сменять хоть сейчас.

Эти стихи, написанные Гафуром Гулямом буквально на ходу, он в тот же день прочитал своим знакомым из старой махаллы. Один из слушателей шутливо заметил:

— Да, Гафур, скучаешь по детству, а старость уже стоит за плечами.

Гафур Гулям тотчас ответил экспромтом:

Триста лет, говорят, не спеша черепаха живет,
А у бабочки день продолжается яркий полет.
Не ползи черепахой, мотыльком не мелькай, человек,
Проживи как положено свой человеческий век.

Все, кто присутствовал при рождении этого экспромта, поразились такой «оперативности» мышления Гафура Гуляма, наступило несколько минут всеобщей немоты, а потом один из парней не выдержал и не без иронии, глядя на поэта, спросил:

— Извините, Гафур-ака, а черепахи и в самом деле по триста лет живут?

— Все на свете относительно, — ответил поэт. — Суть этого стихотворения не в том, чтобы сообщить вам, сколько лет живет черепаха, а помочь уразуметь, как должен жить человек и в чем смысл человеческой жизни.

Триста легко исправить на сто или на тысячу. Вон обнаружили, говорят, крокодила, в черепе которого застрял золотой наконечник стрелы, выпущенной из лука более тысячи лет назад.

Еще одна особенность натуры Гафур Гуляма заключалась в его умении в самом неприметном явлении, в пылинке жизни увидеть большое, и в то же время в большом разглядеть все до мельчайших деталей и подробностей.

Так, в стихотворении «Время» Гафур Гулям передал свое умение увидеть в летучих мгновениях и человеческие судьбы, и грандиозные исторические события. А ведь речь в нем идет о том, как сказано в эпитафии, что «капитан Хамидулла Хусайнов подарил мне часы». Но часы отсчитывают секунды, минуты, из которых складывается история, вечность.

Гафур-ака прекрасно понимал, что каким бы талантливым он ни был, как бы обширны и основательны ни были его познания, но художник, который не обращается постоянно к неиссякаемой сокровищнице народной мудрости, к опыту и духу народному, уподобится искусственному водохранилищу, созданному на один сезон, чтобы полить посевы. Это водохранилище очень скоро иссякнет, а литератор выдохнется, создав одно-два произведения. Не в этой ли постоянной связи с народом могучий размах крыльев и неиссякающее богатство поэзии Гафур Гуляма, его умение мгновенно откликаться на самые животрепещущие проблемы жизни?

Гафур-ака часто подшучивал надо мною, а именно над тем, что у меня раньше времени выпало несколько зубов. Тогда я написал стихотворение «Зубы и мама» и прочитал его Гафуру Гуляму. Едва дослушав его, он тут же написал ответное стихотворение, начинавшееся строками: «Сказал я Шукрулло, что зубы выпадают...»

Казалось бы, что напишешь на эту шуточную тему? Но Гафур Гулям сумел вместить и в эти стихи свою жизненную философию.

Да, Гафур Гулям очень глубоко и основательно знал жизнь, но тем не менее каждый раз со свойственной ему скромностью подчеркивал свою беспомощность перед вселенской сложностью этой самой жизни и особенно человека в бесчисленном многообразии его проявлений. Вот как он об этом писал:

Писать стихи рецентов нет в аптеке,
Хвала тому поэту и певцу,
Кто видит сущность в каждом человеке
И нужный вывод делает к концу.

Полвека с лишним жизнь я наблюдаю,
Ее переплавляя, как металл.
Всегда ли хорошо писал, не знаю,
Но никогда неправды не писал.

На все вокруг Гафур-ака смотрел творчески, глазами художника. Однажды, как всегда неожиданно, он показал мне на стоявший перед ним стеклянный графин и спросил:

— Есть в нем вода или нет?

Наученный опытом, я знал, что вопрос, видимо, не случайный и речь не о том, есть в графине вода или он пуст. Значит, Гафур-ака что-то подметил. «Но что?» — размышлял я, желая хоть раз угадать парадоксальный ход его мысли. Пристально разглядываю графин. И в самом деле, не разберешь — с водой он или пуст. Ведь иногда по горлышко наполненную водой стеклянную посуду не отличишь от порожней. Чтобы определить это, надо поднять графин. Я протянул было руку к графину, но Гафур-ака отвел ее со словами:

— Не надо... Смотри, чтобы узнать, полон графин или пуст, достаточно опустить в него кончик карандаша. Если полон, вода тут же польется через край. Человеческое сердце — все равно что этот графин. Трудно определить, что в нем. Достаточно одному лишь листочку упасть с дерева в наполненный хауз, как по всей его поверхности пойдет рябь. Таков и поэт. Он должен жить постоянно переполненным чувством жизни. Едва тронешь такое сердце, как пойдут волны или из него начнет переливаться через край. Это значит — к поэту пришли стихи. Вдохновение не постоянно владеет поэтом. Нужна внешняя сила, которая бы вызвала его.

В 1949 году я написал поэму «На пороге коммунизма» («Друзья»), посвященную жизни рабочих. В те годы я работал в Союзе писателей республики, председателем которого в то время был известный узбекский писатель Шараф Рашидов.

И вот как-то приглашает меня Шараф Рашидович к себе. После традиционного приветствия и взаимных рас-

спросов о жите-бытье, самочувствии последовал вопрос:

— Ну как, хорошо отдохнули?.. А ну садись... Так когда мы будем читать поэму о рабочих, завершаешь уже?

Завершаю?! Я о такой поэме и не помышлял еще! «Откуда он взял, что я работаю над поэмой о рабочих?» — в крайнем изумлении смотрел я на Шарафа Рашидовича. А Шараф-ака добавил:

— Написал же ты стихотворение о доме рабочего, читал я. А тот, кто бывал у рабочего в доме, не мог и самого рабочего не видеть, не так ли? Так вот, подумай еще раз над тем, что знаешь на эту тему, о тех рабочих, с которыми хорошо знаком, и приступай к поэме. Чего не знаешь, у тех же рабочих и расспроси. Если пожелаешь, я с этого дня освобождаю тебя на месяц-другой от работы, походи по заводам, ближе познакомься с жизнью рабочих, глядишь, замысел прояснится начнет.

Это был для меня и толчок к работе, и одновременно надежная опора.

Ничто само по себе не возникает. Как сказал Мирза Абдукадыр Бедиль:

Мои стихи пестры, как мне сказали.
Пестра и жизнь в основе звонких строк.
Они ведь не небесные скрижали,
Что получил готовыми пророк.

Стихотворение похоже на серебристую паутину, летающую осенью в небе. Как трудно бывает ухватить ее за кончик, ускользающий даже при малейшем дуновении ветерка!

Да и сама мысль не застывает в неизменности. Она тоже живет, меняет оттенки, переливается всеми цветами радуги. И вот, пока проденешь ее в игольное ушко нужного замысла, да пока пришьешь к жизни...

Плод созревает на дереве, дыня — на земле, художественное произведение — в писательском сердце. Если земледelec вовремя не уберет урожай, он перезреет и испортится. Писатель же, не воплотивший своего замысла в произведение, считай, ничего не создал, ибо без закрепления мысли и чувства на бумажном листе литературного произведения нет, оно еще не родилось.

— Вот что, — сказал мне однажды Гафур Гулям. — Ты все эти наши разговоры обязательно запиши. Крити-

ки-литературоведы много пишут о самих произведениях, разбирая их по косточкам. Однако никому из них неведома личная жизнь писателя, сам процесс рождения произведения, сложность и муки этих творческих родов. Отношения между писателями, их беседы могут раскрыть много неизвестных и поучительных сторон жизни литераторов. Вон мы и по сей день продолжаем изучать взаимоотношения Пушкина и Гоголя. Не случайно так много сегодня пишут мемуаров о выдающихся русских и европейских мастерах слова. У нас же, к сожалению, этот жанр никак не получит прав гражданства. Впрочем, мы сами в этом виноваты. Под лежащий камень, как известно, вода не течет.

В своих произведениях мы создаем так называемые положительные образы, рисуем людей, достойных подражания. Так неужели в жизни писателей нет ничего поучительного, такого, чему хотелось бы и стоило подражать? Мне думается, молодежи есть чему поучиться на примере жизни не только шахтеров и металлургов, строителей и колхозников, ткачей и шоферов, но и писателей. Ведь у каждого из нас есть собственное отношение к труду, к семье, к людям, к жизни вообще.

Писательство — это врожденный дар, правильно. Но это еще и своеобразный недуг, причем неизлечимый. Писатель обречен на него до конца жизни. Писательство — профессия, при которой не считаются ни со временем, ни со здоровьем. Писатели не уходят на пенсию, они работают до последнего вздоха — и рано утром, и поздно вечером, и в ночные часы, и в праздники.

Стихи не знают чисел и часов,
Как ураган, гроза, землетрясенье,
Как бурный ливень иль обвал снегов
Нас настигает вдруг стихотворенье.

Примерно так писал о рождении стихов Усман Насыр. Но самое интересное то, что если писатель долго не пишет по каким-либо причинам, то он теряет покой и даже здоровье. Вдохновлять же его могут не только радости, свершения, достижения, но и горе, трагедия, личные или всенародные бедствия.

В 1966 году в Ташкенте не было дня, когда бы не давало о себе знать землетрясение. Стихия словно разгневалась на Ташкент, но я не ошибусь, если скажу, что

волны ее раскатывались по всему миру, сотрясая людские сердца болью тревоги и сочувствия. Весь ужас этого землетрясения, все страдания, которые оно принесло ташкентцам, любовь к Родине, развалины домов, где прошло мое детство, стойкость, мужество и выдержка моих земляков, устоявших перед слепой яростью стихии, — все это каким-то огненным, болезненно жгучим бутоном засело в моем сознании. Я знал, что, пока не распухнет этот бутон, не ляжет на бумагу строками стихотворения, я не обрету покоя. Я ни о чем другом не мог думать, ни на чем другом не мог сосредоточиться. Дома разрушены, люди живут в палатках. Я видел это, я постоянно об этом думал и днем и ночью, не в силах смежить налитые свинцовой усталостью веки. В одну из таких бессонных ночей я потихоньку, чтобы не беспокоить домашних, встал и вышел на улицу. Пошел в старую махаллу, долго бродил по местам, где прошли детство, юность, лучшие годы моей жизни. Бродил, не сдерживая и не скрывая слез, благо безлюдно было в этот поздний час среди покинутых людьми развалин. Откуда-то появилось случайное такси, я сел в машину, решив объехать ночной город. Мы поехали, но я то и дело просил шофера остановиться, выходил из машины, подолгу стоял у пыльных руин. Видимо, вид у меня был ужасный. С удивлением, состраданием, а порою и плохо скрываемой тревогой смотрел на меня совсем еще юный водитель такси.

У памятника Навои я снова вышел из машины. Что-то шевельнулось, отозвалось в душе, будто в ответ на какие-то произнесенные Навои слова. По неведомой ассоциации мне вдруг вспомнилась написанная о наводнении в Петербурге поэма «Медный всадник» Пушкина. Я обернулся к бюсту Пушкина, будто и великий русский поэт сказал мне что-то. В душе поднялась какая-то светлая волна, я бросился к машине и попросил водителя как можно скорее отвезти меня домой.

Перед тем как попрощаться, шофер не удержался и спросил, кто я. «Узбек», — коротко ответил я парню и шагнул во двор. Тут я оторопел. На широком деревянном помосте сидела вся моя семья: от жены до самой младшей дочурки. Оказывается, их испугало мое исчезновение среди ночи, и они сейчас дружно набросились на меня с укорами и попреками. Они уже обыскали весь

двор, заглядывали в подвалы, пересилив страх, выходили и на улицу, но нигде меня не обнаружили и теперь сидели, вздрагивая от каждого шороха, в тревоге и смятении. Я как мог успокоил семью и тут же прошел в комнату, сел за стол, чтобы писать поэму.

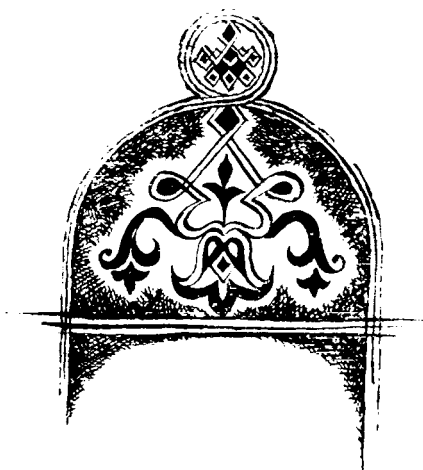
Вот уж и несколько главок готово, но вижу — поэма пока не вырисовывается. Какая-то безотчетная тоска владеет мной. И хотя я решился опубликовать один отрывок из поэмы, в целом дело никак не шло. Целый вечер я опять бродил как неприкаянный по развалинам Ташкента и около одиннадцати вернулся домой. Мне навстречу метнулась дочка и срывающимся от рыданий голосом сообщила:

— Умер дядя Гафур, умер Гафур Гулям...

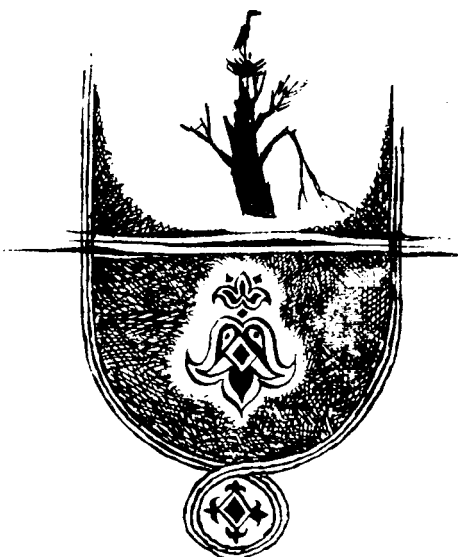
Не помню теперь, то ли я бегом добежал до дома Гафура Гуляма, то ли подвезла меня какая-нибудь попутная машина. Я был как в бреду и только одно твердил про себя: «Нет, не может этого быть, не должно этого быть...» В памяти возникали и крутились каруселью все наши встречи с Гафуром, его слова, фразы, его улыбка, жесты, весь его образ. Вспомнилась и дарственная надпись на книге «Иду с Востока», которую он мне подарил.

Я знаю, что, желая лишь добра,
Назвал ты сына именем Гафура,
Но жизнь поэта горяча, остра,
Сложна, горька, мучительна, пестра,
Не каждый сущий радовался б ей...
На вечное кипение страстей
Обрек ты своего сына Гафура.

Да, действительно, я назвал своего сына Гафуром в честь своего учителя, поэта, ученого. И вот теперь его больше нет на свете... А к дому Гафура Гуляма уже стекались с разных концов Ташкента люди. Они шли проститься с любимым поэтом, в последний раз взглянуть на того, кто был певцом их радостей, страданий, надежд... Двор уже не вмещал всех пришедших, открыли ворота. Но вскоре и вся улица оказалась запруженной тысячами людей...



ЭПИЛОГ





Что есть в жизни
В ссудках и в долгах, в раскисании,
Ты же до смерти не забывай!
Каждо свое имеет, что мне не нужно, если
Ам не пахнет твоим
В ссудках, ссудках?!



дея всех этих записок родилась во время моей недельной поездки с друзьями

по районам республики, во время разговоров с ними, а то и в спорах. Но, конечно, над всем этим я задумывался и раньше. Мысли, эпизоды, притчи, рассказы накапливались многие годы, а практически всю мою жизнь.

С другой стороны, в процессе написания этих заметок я как бы заново, более остро и глубоко все пережил и осмыслил.

Одним из начальных толчков к замыслу этой книги послужили читательские письма, в которых дотошные читатели задают десятки и сотни вопросов, касающихся и литературы, и творческого процесса, но главным образом бытовых подробностей жизни и личности самого писателя. Как будто очень важно нам знать, был ли женат Навои и сколько детей было у Пушкина и Толстого. Конечно, специалисты — пушкиноведы и толстоведы точно знают все, что касается жизни этих великих художников, но если я, Шукрулло, не знаю точно, пять или шесть детей было у Пушкина (а тем более, как их звали), то неужели это обстоятельство помешает мне наслаждаться пленительными стихами Пушкина, их чистотой, гармонией, музыкой, глубокими чувствами и мыслями?

Когда талантливый певец поет о любви, о муках, которые доставила ему любимая, о верности, вы на какое-то время забываете, что перед вами артист, вам кажется, что этот человек рассказывает о собственных страданиях, о том, что ему на самом деле пришлось пережить

и почувствовать. Перед вами как бы уже и не артист, а человек, который лучше всех на свете познал волшебные чары любви и верности, который глубже и тоньше всех чувствует, искреннее переживает. В такие мгновения мы забываем даже о поэте, создавшем слова песни, о композиторе, положившем их на музыку. Для нас существует лишь один волшебник — певец. Это и называют чудом подлинного искусства. Волшебная сила художника в его искусстве, в умении заставить нас поверить в реальность происходящего на сцене, на экране, на страницах книги.

Любовь движет миром, любовь движет и искусством, будь то любовь к ближнему, к детям, к женщине или к людям, к народу. Я вспоминаю, что именно любовь заставила меня написать первое стихотворение.

Я учился тогда в педагогическом училище, и было мне, наверное, лет шестнадцать. Я безнадежно и безутешно влюбился в девушку по имени Максуда, так влюбился, что перестал пить-есть, и не было мне покоя ни днем, ни ночью, ни даже во сне. Стоило мне остаться одному, как я не мог удержать слез. Страдания переполняли мое сердце. Образ любимой ни на мгновение не покидал меня. Щеки ее были как два бутона, раскрывающихся навстречу первым утренним лучам. О, как она могла из-под шелковистых длинных ресниц обжечь маяющим и таящим какое-то волшебство взглядом своих больших черных глаз, когда, преодолев девичью застенчивость, мимолетно, молниеносно поднимала взгляд на меня! Я жаждал этого взгляда и страшился его, я горел в его черном пламени я хотел навеки запечатлеть в самых сокровенных глубинах своего бедного, истерзанного сердца эти брови, похожие на ласточкины крылья в стремительном разлете, эти свежие, тонкого рисунка губы, которые, казалось, вот-вот произнесут слово и осчастливят меня навеки или до конца дней моих сделают несчастным. Не знаю сейчас, и в самом деле была она так прекрасна, или, может, только мне она казалась такой? Не знаю! До сих пор не знаю и знать не хочу. Максуда пленила меня всего, без остатка. Я был лишен воли, желаний, целей, кроме тех, которые были связаны с моей любимой. У меня не было слов, чтобы выразить, как прекрасна была она и как совершенна!

Увидели ее завсегдатаи чайханы. Сидят и глаз отве- сти не могут. Наконец один прищелкнул языком и гово- рит, не скрывая восхищения:

— Ну, дожил до счастья увидеть такое чудо. Живи эта девушка в старой Бухаре, эмир сделал бы ее первой в своем гареме.

Вскоре все мои товарищи узнали и о необыкновенной красоте Максуды, и о том, что мы влюблены друг в друга. Сами же мы ни слова не могли сказать друг другу, а тем более о нашей любви. И все-таки даже без этих слов мы настойчиво искали встреч, когда можно было бы обменяться хотя бы мимолетными взглядами, ощутить счастье от того, что находишься рядом с любимым человеком. Конечно, многое хотелось сказать и даже готовился в душе пылкие признания, но при каждой новой встрече заготовленные фразы улетучивались, как роса от солнечных лучей, язык немел, отказывался повиноваться, мысли туманились и путались. Только что казавшиеся исполненными глубокого смысла и искреннего чувства слова вдруг блекли, становились неуместными и жалкими. Долго так продолжаться не могло. Как бы ни любили мы друг друга, как бы ни верили во всемогущество этой любви, пришла разлука. А может быть, и впрямь виною тому была наша обоюдная мучительная немота и скованность, перешагнуть через которую у нас так и не достало сил? Но только и сегодня сладкой болью заходится сердце, когда я вспоминаю те дни. И вот любовь, которую я тогда пережил, начала превращаться в стихи, изливаться в слова, обрела новую жизнь и реальность. Я потерял эту девушку навсегда, но зато стал, хорошим ли, плохим ли, поэтом...

Пылал огонь, и жгло меня до корчей,
Но пламень тот смирился и затих...
О, где мои мучительные ночи —
Весь свой покой отдал бы я за них.

Живу, дышу, мой быт давно упрочен,
Размерен бег и дней и лет моих...
О, где ее сияющие очи —
Весь блеск небес отдал бы я за них!

Мой путь земной с годами все короче,
Любовь и боль ложатся в мерный стих...
О первый лепет самых первых строчек —
Весь опыт свой отдал бы я за них!

Но в жизни ничего нельзя вернуть назад, так же как и в искусстве, в творчестве, ибо искусство и творчество есть не что иное, как одно из проявлений жизни, они тоже есть жизнь, ее огонь, ее свет, ее радость.



О как
 велико желание
 видеть вас прощало ушел в горы.
 Лишь красоту
 оставил Дядька вранский
 водосточный
 канал в Москве.



РАЗДУМЬЯ ПЕРЕД ТЕМ,
КАК СТУПИТЬ НА БРЕВНО,
ПЕРЕКИНУТОЕ
ЧЕРЕЗ РЕКУ

5

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЦЕЛЬ

21

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
И ОСОБЕННОСТЯХ
ПУТЕШЕСТВИЙ

29

СОКРОВИШНИЦА

43

ГРАНИЛЬЩИКИ
ДРАГОЦЕННЫХ СЛОВ

93

...И СНЕГ ГОРЕТЬ БУДЕТ

115

ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ,
СЛЫШАТЬ НЕСЛЫШИМОЕ

137

ЭПИЛОГ

169

Шукрулло
Ш95 Сундук с драгоценными камнями. Пер. с узб.
Вл. Солоухина/Худож. М. Рейх. — М.: Мол. гвардия, 1980. — 175 с.

90 к. 47 000 экз. 95 к. 3000 экз.

Известный узбекский поэт рассказывает о своем пути в литературу, о прославленных мастерах слова, о сокровищнице устного народного творчества, питающей творчество советских писателей.

Ш $\frac{70303-243}{078(02)-80}$ —163—80. 4702590200

ББК 84Уз7
С(Узб)2

ИБ № 2170

Шукрулло

СУНДУК С ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ

Редактор **С. Шевелев**

Художественный редактор **Н. Печнинова**

Технический редактор **Е. Михалева**

Корректоры **Е. Самолетова, А. Долидзе**

Сдано в набор 20.03.80. Подписано в печать 22.08.80. А01682.
Формат 84×108 $\frac{1}{32}$. Бумага типографская № 1. Печать высокая.
Гарнитура «Обыкновенная новая». Условн. печ. л. 9,24. Уч.-изд.
л. 8,9. Тираж 50 000 экз. Цена 90 коп. (47 000 экз.), в супер-
обложке 95 коп. (3000 экз.). Заказ 191.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типогра-
фии: 103030, Москва К-30, Суцеская, 21.